

СЦЕ НА РИСТ



АЛЕКСЕЙ ЗАБУГОРНЫЙ

18+

Алексей Забугорный

Сценарист

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70111735

SelfPub; 2023

Аннотация

Уютный бар, где коротают вечер обычные горожане, становится сценой для невероятной фантазмагии, в которой явь переплетается с вымыслом, привычное искажается до неузнаваемости, здравый смысл уступает место абсурду, и невозможно отличить одно от другого, когда в нем появляется необычный гость...

Алексей Забугорный

Сценарист

Кто скажет, день теперь, или ночь... Всегда горит свет.

В этот час в баре никого еще не было, не считая господина за столиком в углу, который пил абсент и что-то писал в блокноте. Белокурый и тщедушный, с зализанною на бок челкой, с острым носом и тревожными глазками, господин этот был и не господин даже, а так – господинчик.

Я-то здесь завсегдатай и каждый меня знает, и я знаю каждого, а только господинчика этого видел впервые. Наверное, он и был здесь впервые.

Я отхлебнул из своего бокала, и в ожидании других завсегдатаев стал фантазировать.

Я часто так делаю, чтобы скоротать время: бывает, целую биографию придумую какому-нибудь незнакомцу, пока тот сидит себе спокойно в сторонке: кто он, откуда, и кто его жена, и что он сделал и, бывает, до того замечаюсь, что уже готов и обнять его, как старого друга, а может, и напротив, заявить ему прямо в лицо, что он – подлец, и знать я его не желаю.

«Наверное, он тщедушен не только физически, – думал я, украдкой поглядывая на господинчика. – Он долго мучился этим и однажды совершил нечто, что до сих пор является ему в ночных кошмарах. А зовут его – Альберт».

Тут нежно пропели колокольчики над дверью, и трое, закутанные по самые глаза в темные плащи, прошли к столику у окна. Бармен подхватил со стойки меню и пошел встречать гостей.

Гости заговорщицки зашептали ему, тыча пальцами в винную карту. Свет мозаичного плафона на темно зеленой стене играл на их лицах, отчего казалось, что они гримасничают и строят рожи.

Я их часто вижу здесь, хотя и не заговаривал ни разу. Они всегда держатся особняком, не привлекают внимания, а все сидят, почти касаясь друг друга лбами, бормочут быстро и невнятно, вскидывая руками и делая движения всем телом, так что и представить, о чем там у них идет речь, невозможно.

Приняв заказ, бармен вернулся за стойку и, чтобы скоротать время, я разговорился с ним.

– Скажите, бармен, кто эти люди, что сидят особняком, не ищут другого общества и так загадочны?

– Не знаю, – ответил бармен. – При мне они говорят только о том, что будут пить и есть. К примеру, сейчас заказали белое вино и пиццу. Хотя, на проходимцев и не похожи.

Скорее, на богему...

– А что такое богема? – ухватился я за мысль. – Что она такое? Категория людей, что кутит и веселится, не зная приличий, а в промежутках мастерит или рисует, чтобы кутить и веселиться? Если так, то немало найдется среди нас богемы, пусть даже и не рисующей.

– Нынче каждый волен называться, хем хочет, – отвечал бармен. Он взял со стойки пивной бокал, протер и посмотрел сквозь него на свет. – Я бы даже больше сказал: грядет время анархии.

– Именно! – оживился я. – И даже прямо-таки библейский случай; много грядет пророков, и всем нам следует быть разборчивыми.

– Смутное время, – вздохнул бармен. – Во всем – упадок. Едва ли найдется хоть крупинка золота в бархане песку. Хотите еще коктейль?

– Ну, знаете..., – отвечал я, без колебаний протягивая ему пустой бокал, – вы как в воду глядите.

– Знавал я одного писателя, – слышалось из-за ширмочки, отделяющей барную стойку от ниши, в которой была устроена кухонька и моечная. – Все мечтал сочинить сюжет, которым заинтересовались бы в самом Голливуде.

– И что же? – спросил я у ширмочки. – Сочинил он такой сюжет?

Ширмочка сдвинулась, и из-за нее показался сначала вну-

шительных размеров нос, затем подбородок, а вслед за ними и вся голова на длинной, тонкой шее с острым кадыком и взъерошенная, явилась на свет: «Нет – сказала голова. – Не сочинил».

Голова принадлежала помощнику бармена, который, по его собственным словам, пусть и не видел, но слышал многое. В этом он, помощник, сам признался мне, когда подменял бармена за стойкой.

– Дело мое маленькое – говорил он. – Сижу себе за ширмочкой, делаю, что прикажут. Никого не вижу, и меня никто не видит, зато слышу я все прекрасно. И из того, что я услышал за все это время, можно составить целую повесть. Захватывающую, с неожиданными поворотами; где есть и любовь, и ложь, и подлость, и благородство, но более всего, конечно, в ней смешного. Смешного до слез, до истерики, – такого, что и за всю жизнь не оправиться. Ведь смешно, согласитесь, быть невольным соучастником того, о чем люди думают, что говорят тет-а-тет, невольно поверяя самое сокровенное постороннему человеку.

Иногда мне бывает совестно. Иногда – страшно. Ведь откровения могут быть и такие, что не дай вам Бог услышать хотя бы малую часть их. Уж сколько раз просил я бармена сделать ширму прозрачной...».

Теперь же я спросил голову помощника: «И что же стало с этим писателем? Удавился он?»

– Нет. Спился.

Ответив так, голова снова скрылась, а бармен уже ставил передо мною новый бокал. Там, в рубиновой толще кока колы и рома, таинственно плавился лед.

– Все потому, – сказал бармен, – что для себя надо писать, а не для Голливуда; тогда и Голливуду интересно станет: «А о чем это он там пишет так увлеченно?» Другими словами – талант нужно иметь, – продолжал бармен. – А им важен эффект, а не суть.

– Беда в том, что иные так ловко маскируют эффект за самую что ни на есть суть, что и Голливуд не отличит ее от подделки, и берет. А отличив, – лишь пуще станет нахваливать, и других заставит, чтобы самому не прослыть дураком. Вот и гуляет по миру голый эффект, и строит рожи, но все так привыкли, что уж и забыли, как выглядит самая суть.

– Значит, наш писатель не преуспел даже и в этом, – огорчился я. – Так действительно сопьешься. – И сделал глоток.

Мы помолчали.

– Однако, – бармен поглядел на часы, – уж час прошел после открытия, а посетителей все нет.

Действительно, бар был пуст. Только троица за столиком по-прежнему шушукалась, извиваясь всем телом, да господинчик тревожно оглядывался и горбился над своим блокнотиком.

За окном сгустились осенние сумерки; сеял не то дождь, не то снег, и изредка мелькали темные силуэты прохожих. Лучшее время, чтобы посидеть в тепле и уюте за стаканчиком чего-нибудь горячительного и посудачить о том о сем; удивительно, как можно пренебрегать такой возможностью в конце рабочего дня.

И вот, когда бармен уже, кажется, начал подсчитывать убытки, снова пропели колокольчики, и появилась парочка весьма обычного для этого заведения вида: он – в бакенбадрах, она – в открытом зеленом платье с блестками, с накинутой на тонкие плечи лисьей шубой.

Двое проследовали не к окну, где обычно обретаются интроверты и незнакомцы, а к самой стойке.

У него было свирепое лицо бульдога и пиджак в крупную клетку. У нее – огненно-рыжие волосы, собранные на макушке в узел, который пронзали и удерживали две тускло блестящие стальные спицы.

– Добрый вечер, – сказал я.

– Bonjour! – откликнулась женщина, а ее спутник вместо приветствия так хлопнул меня по спине, что она загудела, как колокол.

– Ну-с, – спросила женщина, усаживаясь напротив, – что у нас новенького?

Бармен пожал плечами, и стал натирать бокалы с таким

видом, будто он – только бармен, и ничто другое его не касается.

– Стоит только позволить себе небольшую вольность, – сказал пришедший, – как тебя тут же перестают замечать. – И добавил: "Э-э-э... Любезнейший! Не будете ли вы так добры... Как обычно.

Бармен кивнул, налил обоим по рюмке водки и подал вместе с блюдечком, выложенным ломтиками сала и хлеба.

Господинчик за столиком взглянул испуганно, втянул голову в плечи и застрочил в своем блокнотике.

Здесь я должен сделать отступление.

Эти двое, что сидят теперь напротив меня – актеры. Муж и жена. Впрочем, только гражданские. Служат в одном театре. У них своеобразное амплуа: оба они – трагисты.

Те, кто видел их на сцене, приходят в восхищение от ее игры, и в недоумение – от его. Ее сравнивают с нимфой, просят большое будущее, его же, как за глаза о нем поговаривают, держат в труппе из жалости, страха и уважения к прежним заслугам.

В чем заключаются прежние заслуги почти никто уже не помнит, однако старые театралы утверждают, что когда-то именно он блистал и подавал надежды.

Страх же заключался в том, что будто бы как-то, будучи пьян, он заявил, что подожжет театр, если кто осмелится за-

завить, что он уж не тот, что прежде, или исключить его из труппы. Учитывая внешность говорившего, ему поверили...

Да, я забыл представить новых наших героев. Зовут его – Собакевич (именно так, и ни я, никто другой не знает его по имени), ее же – Маргарита Николавна, или просто – Марго.

Итак, Маргарита провела ладонями по своим волосам, и сказала, глядя на меня русалочьими зелеными глазами: «Милый друг, скажите, что вы думаете теперь? Почему вы всегда один? Неужели не найдется ни одной приличной дамы, способной скрасить ваше одиночество?»

Терпеть не могу, когда ко мне обращаются с подобными вопросами. Я убежден, что задаются они из праздности и за отсутствием такта.

– Не понимаю, к чему вы клоните, – ответил я с достоинством, – но я прихожу сюда с единственной целью...

– ...Нажраться! – рявкнул Собакевич и захохотал, довольный своей выходкой. – Как я вас, а?! – Спросил он, трясясь от смеха, и вскинул широкую ладонь. – Ловко, а? Дайте пять, сэр! – И выпил.

– Вы знаете, – продолжал Собакевич, отсмеявшись и закидывая в рот кусочек сала, – мне, между прочим, новую роль предложили.

Я изобразил на своем лице оживление и спросил: «Действительно?»

– Да-с..., – Собакевич откинулся на своем стульчике. – Впервые за долгое время мне дали, наконец, одну из главных ролей.

– И что же это за роль такая? – поинтересовался я, чтобы соблюсти приличия.

– Роль замечательная! – живо отозвался Собакевич. – Скажу вам по секрету – я долго мечтал о ней. И вот, счастливый случай преподнес нам творение сценариста из Европы...

– Ах! – закатила глаза Маргарита. – Гений, гений!

– Так и есть, – подтвердил Собакевич. – Единственный в своем роде.

– Кого же вы играете? – спросил я.

– Маргариту! – торжественно произнес Собакевич.

– Какую Маргариту? – удивился я.

– Как какую? Ту самую. – Лицо Собакевич просияло тихой гордостью. – Маргариту Николавну. Марго".

Я в недоумении взглянул на Маргариту, но супруги всплеснули руками и заголосили, тыча в меня пальцами: «Полюбуйтесь! Он совсем не читает книг!»

– Я читаю, – обиделся я. – Но позвольте... Если вы не играете Вашу супругу, то выходит, что...

– Именно! – ответил Собакевич. – Именно это и выходит!

«Господи...», – неопределенно подумал я, и осушил свой бокал.

Бармен посмотрел на меня сочувственно и смешал новый коктейль: «За счет заведения», – шепнул он.

– Да... – довольно жмурясь повторил Собакевич, – Маргариту.

– Ну, а вы? – спросил я Маргариту Николавну. – Вы кого будете играть?

– Я буду играть Собакевича.

Чтобы снова не попасть впросак, я только пожал плечами.

– Ну, Собакевича! – повторила она укоризненно. – Мой друг, определенно вам следует заняться своим образованием.

– Согласен, – отвечал я. – Но ведь Собакевич и Маргарита... образно выражаясь... живут на разных улицах?

– Ах да, – улыбнулась Маргарита снисходительно. – Забыла вам сказать, что спектакль экспериментальный. Конечно, с одной стороны нет Собакевича, а с другой – Маргариты, но соединить несоединимое, но разрушить устои, но заставить взглянуть по-новому... Ах, как это свежо, как великолепно! Нет, это невозможно, невозможно передать словами! – Простонала она, и тоже выпила.

– Сценарий, как мы уже сказали, написан европейским режиссером, – добавила Маргарита, переводя дух. – Только там, в Европе (она плавно повела рукой куда-то вдаль), – возможно такое. Ах, Европа! Идеи, прогресс, прорыв... После этого и смотреть не хочется на наше захолустье. – Она по-

смотрела кругом, зажмурилась, будто увиденное причинило ей боль и сказала бармену: «Мой друг! Прошу Вас...».

Бармен достал из-за стойки графин с водкой.

– Знаете, – промычала Маргарита, выпив еще и раздирая сало остренькими зубками, – приходите завтра на премьеру, и сами увидите.

– Хотите контрамарку? – добавил Собакевич.

– О чем же все-таки спектакль? – спросил я.

Мысль увидеть на сцене Собакевича в образе Маргариты, под ручку с Собакевичем – Маргаритой вызывала противоречивые чувства.

– Как бы вам сказать..., – протянул Собакевич, и почесал нос.

– Это трудно объяснить, – закивала Маргарита. – Сюжет не укладывается в привычные рамки. Зритель может представлять все, что угодно. В отличие от классики, которая давно всем набила оскомину здесь во всем, во всем – полная свобода. Определенно, это будет революция в искусстве!

– Ну, а какова все-таки основная мысль? – спросил я.

– Я же сказала вам, – отвечала Маргарита, раздражаясь, – во всем – свобода. Один увидит одно, другой – другое, третий вообще ничего не увидит, но только все поймут, что перед ними что-то такое, что... нет, это невозможно, невозможно описать! – Выкрикнула она почти уже со злостью, но тут снова запели колокольчики, и в уютном полумраке по-

явились два господина.

– Добрый вечер! – воскликнул тот, что вошел первым.

На нем был мокрый от дождя плащ, широкополая шляпа и трость. Другой держал в руках потемневший от влаги бумажный пакет, перетянутый бечевой.

– Где веселье? – воскликнул первый господин. – Почему тихо? Музыка громче! – Больше свечей!

– Здесь нет свечей, – тихо заметил второй.

Какой ты, Михаил, реалист, право! – огорчился первый господин. – Впрочем, – добавил он, оглядываясь, – свечей здесь действительно нет. Что-ж, твой выход!

Второй господин надорвал бумажную обертку и извлек из прорехи несколько толстых, темных восковых свечей, богато украшенных замысловатым орнаментом.

– Подарок заведению, – пояснил первый. – Для услаждения вкуса присутствующих и создания атмосферы.

– Благодарю, – ответил бармен бесстрастно.

Свечи расставили на столиках, полках и барной стойке и зажгли.

– Позвольте отрекомендоваться, – сказал первый господин. – Катамаранов. – И протянул мне руку.

– Йорик, – ответил я.

– Вы бедны? – поинтересовался Катамаранов.

– Отнюдь. Но моя матушка в молодости была романтически настроена.

– Это случилось с девушками тех лет, – согласился Катамаранов, и указал на того, что с пакетом. – Это Михаил. Любитель восковых свечей с орнаментом. Рекомендую.

– Очень приятно, – кивнул я.

– Собакевич, – нехотя представился Собакевич и демонстративно выпил.

– Маргарита, – сказала Маргарита и снова провела ладонью по волосам.

Вновь прибывшие уселись рядом с нами и заказали пива.

Катамаранов отхлебнул из своего бокала, посмотрел на нас, снова отхлебнул и опять посмотрел.

– У вас несколько неестественный вид, господа, – сказал он. – Возможно, мы своим неожиданным появлением отвлекли вас от интересной беседы, и если это действительно так, то мы искренне...

– Вовсе нет! – перебила Маргарита. – Мы как раз обсуждали новую роль Собакевича и мою, и к разговору нашему вы можете присоединиться в любую минуту.

– Роль Собакевича? – живо спросил Михаил. – Так вы – актеры?

– Да, – живо отозвался Собакевич. – Актеры.

– Какое совпадение! – обрадовался Михаил. – А я как раз

большой театрал. То-то я смотрю, мне лица ваши будто бы знакомы.

– Возможно, возможно, – вздохнул Собакевич, и придал своему грубо скроенному лицу выражение, какое бывает у великих, но скромных людей, когда им вдруг станет грустно. – Меня, знаете ли, часто узнают, но что поделать...

– Собакевич будет играть Маргариту, – сказала Маргарита и обвела нас взглядом, чтобы еще раз насладиться произведенным эффектом.

– То есть..., Катамаранов на секунду замешкался и посмотрел на Маргариту вопросительно.

– Нет, не меня, – улыбнулась Маргарита, – а другую Маргариту.

Катамаранов поперхнулся пивом.

– Неужели...?

– Ее самую, – улыбнулся Собакевич.

– А я буду Собакевичем, – заявила Маргарита. – Гениальный, гениальный спектакль! Наверняка будет аншлаг. – Хотите контрамарку?

– Но позвольте..., – озадачился Катамаранов. – Они ведь, кажется...

– Именно, что только кажется! – воскликнула Маргарита, снова начиная раздражаться. – Спектакль экспериментальный и нужно обладать хоть немного воображением, чтобы понять, что... впрочем, вот перед вами Йорик, который все вам объяснит не хуже нашего.

И добавила, посмотрев на меня с издевкой: «Правда, Йорик?»

Свечи струили теплый свет. За окнами совсем стемнело, и в окна эти густо лепил мокрый снег.

Собакевич достал из нагрудного кармана своего пиджака серебряную трубочку, закурил, и клубы ароматного дыма, разрастаясь и сливаясь друг с другом, стали заполнять помещение.

– Сейчас самое время рассказывать истории, – мечтательно сказала Маргарита.

– Здорово, знаете ли, было бы послушать, – ответил Михаил, глядя на Маргариту томно.

– Слушать всякий может, – осадила его Маргарита. – Но, чтобы один слушал, другой, как известно, должен именно рассказывать. Вот вы, например, – Маргарита холодно взглянула на Михаила. – О чем бы вы рассказали?

– Мне... нечего рассказать, – вздохнул Михаил. – Единственное мое увлечение – свечи с орнаментом. В остальном моя жизнь – к счастью или нет – состоит из серых будней. Собственно, затем я и пришел сюда, – чтобы внести в нее хоть какое-то разнообразие.

– Стало быть, все дело в алкоголе? – подняла бровь Маргарита.

– Именно, – ответил Михаил, и добавил: «Странно... я не

испытываю неловкости признаваясь в этом. Алкоголь окрыляет, дарит чувство свободы и веру в то, что все достижимо, что все еще впереди...»

– Это, безусловно, прекрасно, – перебила его Маргарита, – но я совсем не то имела ввиду. Все мы тут любители этого дела (она щелкнула себя по шее), и никто не делает из этого тайны. И потом – если в вашей повседневной жизни, как вы сами признались, ничего не происходит, кроме свечей, расскажите тогда, чем живет ваш дух?

– Дух? – рассеянно повторил Михаил.

– Дух, – подтвердила Маргарита. – Сознание. Ментальное тело. Иными словами, – что творится по ту сторону вашей черепной коробки, пока вы сидите здесь и напиваетесь с отсутствующим видом?

Михаил покраснел и отвел глаза: «Простите, но... по-моему, это личное, и...»

– Какой вы, право, скучный, – сказала Маргарита, и вдруг повернулась туда, где в углу помещался господинчик с блокнотом.

Мы все, повинувшись коллективному чувству, сделали то же, и оказалось вдруг, что господинчик этот не пишет вовсе как ранее, в свой блокнот, а сидит на самой краешке стульчика, подавшись вперед, и наблюдает за нами настороженно и тревожно.

– Здравствуйте! – воскликнула Маргарита.

Господинчик, будучи уличен, вздрогнул, сделался бледен, заморгал часто, криво как-то улыбнулся, дернул локтем и столкнул блокнот. Смутившись еще более, он полез за ним под столик, задел при этом стул, который с грохотом свалился на пол, от неожиданности подпрыгнул, ударился затылком о столешницу и упал на собственный зад, при этом не переставая виновато улыбаться.

– Вот незадача...! – воскликнул бармен, а мы бросились на помощь.

Господинчика поставили на ноги, поинтересовались, не ушибся ли он, и не желает ли присоединиться к нашей компании, но тот, ошалеv от всеобщего внимания, лишь все бледнел, улыбался с диким каким-то оскалом и озирался как загнанный зверь.

– Я только хотела спросить, – в шутку, разумеется, – говорила Маргарита, – не расскажете ли вы нам что-нибудь, раз уж другим, – извиняюсь, – слабо.

Тем временем бармен прибыл на место происшествия. Усадив господинчика снова за стол, он поставил перед ним новую рюмку абсента, и от имени заведения извинился за нелепый инцидент. Все мы, также извинившись и пожелав господинчику приятного вечера, вернулись за свой столик.

– Бывают же казусы, – шепнул Михаил.

– Странный тип, – согласилась Маргарита.

– Оставьте, господа, – возразил Катамаранов. – Никто из

нас не выбирает, каким ему быть, а потому... Кстати, бармен, вы, кажется, забыли поджечь абсент.

– Я не забыл, – отвечал бармен, – я лишь опасаясь за судьбу заведения.

– Ну, а раз так, то и оставим, как есть, – отвечал Катамаранов. – Если помните, мы хотели истории рассказывать.

– Клянусь честью, сегодня здесь уже произошла история, – захохотал Собакевич, тыча пальцем в господинчика.

Мы все зашикали на него, а Маргарита вздохнула: «Что-ж, если другим и в самом деле нечем поделиться, то, видно, придется мне. Итак...»

Все мы с интересом приготовившись слушать, и Маргарита начала.

– История эта случилась не то, чтобы давно, но и не совсем недавно, – говорила она, и свет свечей ласкал ее лицо. – Возможно, часть ее – плод моего воображения, а может быть, и вся она таковой является; хотя, весьма вероятно, что все в ней правда от первого до последнего слова. Впрочем, пусть каждый решает сам и действует соответственно, а посему...

...Однажды я проснулась посреди ночи. Долго лежала я, не в силах снова уснуть. В ту пору мы как раз готовились к премьере и роль, на которую меня утвердили, не давалась мне. Я была еще молода, неопытна, но... если быть честной,

я знала, что не в этом причина моих неудач. Эта роль... Она требовала большего, чем выучка и опыт. Не знаю, кто надушил режиссера утвердить меня, но твердо знала, знала, что это провал. Я молила судьбу, чтобы роль отдали кому-то другому, и – больше всего на свете боялась этого. Я плакала и злилась, и ненавидела весь свет. Словом, немудрено, что я не спала ночами.

За окнами, так же, как и теперь, шел не то дождь, не то снег. Ветер трепал старый оконный карниз, будто бы кто-то с той стороны пытался ухватиться за него, а живем мы, между прочим, на четвертом этаже пятиэтажной хрущевки.

Собакевич спал. Он, знаете ли, всегда очень крепко спит. Я лежала, глядя в потолок. Люстра тускло отсвечивала стеклянными подвесками. Тени шевелились... Я прислушивалась к шуму дождя, пытаюсь не думать ни о чем, но карниз гремел, и я все явственнее представляла, как кто-то взбирается на него...

Я хотела разбудить Собакевича, но побоялась, что он поднимет меня на смех. Да и потом... он очень злой бывает, когда его будят... Я понимала, конечно, что все – только мое воображение, но все-таки встала, подошла к окну, откинула штору, и – вскрикнула от неожиданности.

Карниз был пуст. Никто не стоял на нем. Никто не вглядывался в комнату. Только мокрые хлопья лепили в стекло и стекали по нему дрожащими каплями.

Почему же я все-таки вскрикнула? Дело в том, что хотя

я и понимала, что все – воображение, я в то же время была уверена, что на карнизе, кто-то есть; и то, что на нем никого не оказалось, испугало меня больше, чем если бы там был кто-то.

Не улыбайтесь так, господа. В конец концов, я всего лишь слабая женщина...

Итак, я стояла у окна. Двор тонул во мраке, и голые ветви мели низко бегущее ночное небо.

Я уже хотела вернуться в постель, как вдруг луна появилась в разрывах туч, и в зыбком ее свете я увидела одинокую фигуру. Она двигалась через двор как тень, будто плыла над землей. Оказавшись под окном, она остановилась.

То был мужчина. Он стоял там, внизу, и хотя я и не видела его лица, я знала, что он наблюдает за мною. Странно – теперь я не испытывала ни страха, ни смущения, – а он все стоял и смотрел на меня, стоял и смотрел...

– ...Это все от того, – раздался голос Собакевича, – что кто-то имеет привычку перед сном употреблять тяжелую пищу.

Мы обернулись.

Собакевич сидел со скучающим видом, и поглядывал на нас снисходительно.

– А еще, – добавил он, – у женщин от природы слишком богатое воображение.

– Ах! Как грубо! Как бестактно! – пожаловалась Марга-

рита, а мы все с осуждением закачали головами.

Может быть вы, господин актер, поделитесь с нами при-
мером того, что есть настоящее переживание? – спросил Ка-
тамаранов. – Было бы интересно, знаете ли, послушать.

– Что-ж, извольте, – сказал Собакевич, опрокинул стопку
водки, и снова стал раскуривать свою трубочку.

– Было это не недавно, и не давно, – говорил он, – а ровно
год тому назад.

Как раз после... репетиции возвращался я домой, но по
пути решил заглянуть в бар. То есть, вот в этот самый, – Со-
бакевич указал мундштуком трубочки в стол.

Погода была, как и теперь, дрянная. Дорога лежала сна-
чала по бульвару, затем по Ерубаева, а уж потом – совсем
ничего – по Абдилова, но я, чтобы сократить путь, решил
пройти дворами.

Фонари не светили. Ветер гнал рябь по лужам, которые
уже покрывались льдом, и снег лепил, однако же, луна нет-
нет да и проглядывала среди туч, освещая путь. Впрочем,
ненастье не такая уж плохая вещь, когда точно знаешь, что
вот сейчас выпьешь... таким образом, на душе у меня было
вполне сносно.

Проходя мимо переполненной мусорки, я вдруг почув-
ствовал, что я не один здесь. От неожиданности я остановил-
ся. Настроение мое внезапно испортилось, и даже мысль о
скорой выпивке не грела более душу.

Пораженный, стоял я, не зная, что предпринять, а ощущение чьего-то присутствия только усиливалось, ложась гнетом на плечи, наполняя сердце холодом. Желая поскорее скрыться из этого странного места, я, повинувшись какому-то безотчетному чувству, поднял глаза, и...

...В окне дома, у которого я остановился, был чей-то силуэт. Я не видел его в подробностях, но знал, что тот, в окне, тоже наблюдает за мною. В эту минуту луна снова появилась, и в ее бледном свете я увидел женщину.

– Полноте, мой друг – укоризненно покачала головой Маргарита. – Опять вы всех разыгрываете.

– Клянусь, так и было! – усмехнулся Собакевич, довольно попыхивая своей трубочкой. – От первого до последнего слова.

– Видите, – пожаловалась Маргарита, – с ним никогда, никогда нельзя говорить серьезно.

– Конечно-конечно, про женщину в окне – это он вас спародировал, – поддакнул Михаил.

– Мой друг, – добавил также и я, – а ведь мы рассчитывали на правду.

– А я и говорю правду, – осклабился Собакевич. – Я стоял и смотрел, как она на меня смотрит, и...

– ...В минуты, как эта, мне хочется уколоть его своей шпилькой! – сказала Маргарита, и досадливо поморщилась. – В общем, я выхожу из игры. Если хотите, рассказывайте дальше сами.

– Ну же, Маргарита Николаевна! – воскликнули все, включая бармена. – Просим! Продолжите вашу повесть!

Маргарита оставалась непреклонна.

– Пусть кто-нибудь другой продолжает, – отрезала она. – Если не боится, что все обсмеет и испортит вот этот тип, – и ткнула Собакевича в бок. – Ну же? – Она обвела нас взглядом. – Кто смелый?

Михаил открыл было рот, но Маргарита остановила его движением руки: «Вас это не касается, мой друг. Вы сами давеча признались, что не обладаете даром быть интересным».

Михаил сник.

– Остаются бармен, Катамаранов и Йорик, – продолжала Маргарита. – Однако бармен, в отличие от нас, на работе, и было бы несправедливо обременять его дополнительно. Стало быть, – Катамаранов и Йорик.

Я чувствовал, что все ждут истории именно от Катамаранова. К тому же и Маргарита назвала его первым, а она ничего не делала просто так. Конечно, Катамаранов с самого своего появления в баре зарекомендовал себя как более серьезный и рассудительный человек, и уж наверное должен был быть лучшим рассказчиком.

С одной стороны, мне было досадно. С другой – я понял внезапно, насколько скучна моя собственная жизнь. Еще секунду назад мне казалось, что мне есть о чем поведать этим людям, но стоило обернуться и окинуть мысленным

взором свое прошлое, как в нем открылась сияющая пустота, где проносились, подобно былинкам, гонимым ветром, лишь никчемные жизненные мелочи.

«Не может быть, чтобы жизнь моя была настолько пуста, – рефлексировал я. – Не может быть, чтобы я на столько ничего не представлял из себя, чтобы всегда довольствоваться вторыми ролями!»

Злость охватила меня внезапно, и решимостью исполнилось сердце, и тут – из сияющей пустоты встало размытым пятном и приблизилось, принимая все более отчетливые очертания то, о чем, – я понял это, – я непременно должен рассказать именно здесь и сейчас этим почти незнакомым людям – в виде искупления, которое, если и возможно, должно было свершиться именно теперь, и...

– ...Хорошо, господа, – выдохнул я. – Я расскажу.

Общество, как и тогда, когда говорила Маргарита, с интересом подалось ко мне и, волнуясь, я начал.

Дело это давнишнее и я, признаться, уж забыл, о нем, но... словом, лучше я сразу начну, без предисловий, чтобы не передумать и рассказать все, как есть, ничего не утаив.

В то время я был старшеклассником. Нас собрали... время было такое... словом, нас повезли в колхоз на уборку картофеля.

– Я тоже бы в стройотряде, – признался Собакевич.

– Вы свое отговорили, – не глядя на него ответила Маргарита. – Поэтому сидите тихонько и слушайте.

Собакевич с независимым видом замолчал, и я продолжил.

Нас, несколько классов, привезли на автобусах и выгрузили у какого-то забора, за которым были постройки барачного типа – вероятно, склады, – и тянулась проволока, вдоль которой бегала на цепи собака.

Весь день мы склонялись над бороздами. Рядом ползли грузовики, которые мы наполняли картофелем. В кузове каждого из них стояло по два ученика; они принимали полные ведра, а обратно бросали пустые.

То были, конечно, отпетые школьные хулиганы; ведь оказаться на борту настоящей сельской машины мечтал каждый, но только самые сильные и жестокие могли отстоять это право.

Почетная эта должность дополнялось и еще одним приятным развлечением: мы все, кто были внизу, были отличной мишенью. Выбирая картофель из борозды, нужно было держать ухо остро и не выпускать машины из виду, и все же время от времени то один, то другой из нас охал и тер ушибленную спину. Преподавателей не было поблизости. Они остались на краю поля любоваться осенне-сельскими видами, поэтому чувствовали себя хулиганы весьма фривольно.

Так, под картофельным обстрелом, в тяжелом и непривычном для нас, городских, физическом труде, тянулся день.

Негреющее осеннее солнце висело в выцветшем небе. Какие-то птицы носились над полями с жалобным писком, и грузовики ползли...

Вечером, уставшие, мы возвращались. Автобусы ждали все там же, у забора. Флегматичный водитель лениво покурил. Классный руководитель о чем-то говорила с директором колхоза.

Натруженные руки болели. Ныли спины. Ноги отказывались идти. Зато у каждого была с собой сумка с картофелем, – подарок колхоза...

– ...Вам подарили сумки? – слышался голос Собакевича.

– Сумки мы взяли из дома, – ответил я, не сразу уловив насмешку. – Колхоз подарил нам картошку. В те времена такой дар был подспорьем для каждой семьи.

– Не обращайтесь внимания, – сказала Маргарита. – Он издевается, как и всегда.

Я вдруг представил себе Собакевича, только чуть менее полного и без бакенбард, в кузове грузовика, прицельно бьющим картофелем по одноклассникам.

– Итак, – продолжал я, – стараясь не глядеть на Собакевича, – мы возвращались к автобусам. Уже можно было про-

читать заляпанные грязью номера, и маячил красный вымпел за лобовым стеклом, как вдруг – из пролома в стене появились головы школьных хулиганов, – тех самых, что обстреливали нас. Воровато оглянувшись и сделав злобные лица, они шикнули на особый манер, что означало: «Следуй за мной ...»

Конечно, ничего хорошего нельзя ожидать от такого приглашения, но мы повиновались.

Как я уже сказал, за стеною были склады. Вдоль складов проходила еще одна, едва приметная дорога, почти заросшая бурьяном. На дороге стоял старый автомобиль с открытым багажником.

Из автомобиля вышел человек в широкополой кепке, немногим старше нас, сутулый и очень худой. На нем была вытертая кожаная куртка, спортивные штаны с лампасом и стоптанные остроносые туфли.

Человек сказал что-то одному из хулиганов, затем приблизился развинченной походкой и заявил, что нам следует поставить сумки в багажник, а те, что не поместятся, разместить в салоне.

Времена, как я уже сказал, были тяжелые. Молодежь росла по тем законам, которые эти времена диктовали ей...

Я живо представил, как человек этот стоит на рынке с нашей картошкой, и позже на том же рынке примеряет новую куртку, а вечером, нетрезвый и мрачный, переминается у си-

ней школьной стены, освещенной неверным светом диско-течных огней.

Кругом носился пустой осенний воздух, с сухим шорохом пробегая по кустам бурьяна. С одной стороны протянулась безразлично бетонная стена; с другой – грязные складские стены с темными дырами окон. Над всем светлой полосой расположилось бесцветное вечернее небо, вызывая мысли о далеких краях, где школьникам не нужно ездить в колхозы, и нет людей в кепках, и от этого делалось еще тоскливее.

Человек между тем повторил свою просьбу, и для убедительности поддал ногой кому-то из наших под зад.

...Наполненный нашей картошкой, багажник не закрылся до конца. Пришлось притянуть его веревкой.

Оставалась только одна сумка. Она принадлежала пареньку в коричневом свитере, который учился на год младше, и который, когда я встречал его, бывало, в столовой, никогда не съедал хлеб, а клал в карман и уносил с собой.

Теперь он стоял, сжимая сумку в руках. На неоднократное требование хулиганов сдать картофель он отвечал молчанием. Тогда тот, что в кепке, несильно ударил его по лицу. Обычно этого бывало достаточно...

Паренек и в самом деле поставил сумку на землю. Хулиган наклонился было, чтобы поднять ее, и тогда паренек вдруг размахнулся, и двинул хулигану в челюсть. Звук удара – ко-

роткий и звонкий, отразился от грязной стены. Кепка порхнула в бурьян, а хозяин ее беспомощно взмахнул руками и упал на тощий зад, озираясь бессмысленно. Подельники его замерли; ухмылка не успела сойти с их лиц.

Я замолчал, уставившись в стол.

– Что же дальше? – спросила Маргарита.

В свете свечей ее широко распахнутые глаза казались бездонными.

– На него налетели другие, – отвечал я, – сбили с ног...

Мы стояли и смотрели, как его бьют. Нас было больше. Намного больше, чем их, но ни один, ни один ничего не сделал, чтобы помочь...

Когда все закончилось, они уехали. Паренек остался лежать на земле. Горсть картофеля, – все, что осталось от нашего заработка, – светлела в бурьяне, и откуда-то из-за стены слышался голос классного руководителя, которая уже искала нас.

– Что же стало с тем мальчиком? – снова спросила Маргарита.

Она была бледна.

– К счастью, все обошлось. – Отвечал я. – Он сам дошел до автобуса. Классной мы на скорую руку сочинили какую-то историю про местных. Она вместе с председателем побежала куда-то... были разговоры о милиции, но – быстро прекратились. Мы вернулись в город.

– Почему же вы не рассказали все, как есть? – удивилась Маргарита, а Собакевич хмыкнул.

– В те времена, – сказал я, – выдавать своих обидчиков считалось недостойным делом, да и опасным. Мы бы только усугубили свое положение. А может быть, это не времена были такими? Может быть, это мы были такими; бездушными зрителями? – Я помолчал, – собираясь с мыслями. – Как бы то ни было, возможно, хоть часть своей вины я искупил тем, что рассказал все, не выгораживая себя, и не оправдывая.

– Безумие..., – выдохнула Маргарита. – Как дети могут быть такими жестокими?!

– Дети – самый жестокий народ, – улыбнулся Собакевич.

Мне было совестно поднять глаза. Молчание становилось все более натянутым, и я уже начинал жалеть, что....

– ...А вот что я вам расскажу! – воскликнул бармен. – Случай этот весьма комичный, и я заранее прошу не поднимать меня на смех; хотя соблазн, признаюсь, может быть велик.

Общество зашушукалось, и с облегчением откинулось от стола.

– Просим! Просим! – привстал со своего места Михаил и зааплодировал.

– Теперь самое время, – одобрил Катамаранов.

– Валяйте, дружище, – поддержал его Собакевич, – не то мы тут совсем скиснем.

Только Маргарита молчала и глядела на меня как-то поновому.

– Итак, – начал бармен, – вот что случилось со мной.

Он прыснул в кулак и продолжал.

...Отправился я на курорт. В Крым. Ну, приехал. Гостиница – не первый сорт, но и не совсем развалюха. В общем, то, что нужно рабочему человеку. Соседи мои оказались; один – сварщик из Костромы, другой – агроном из Ростова, третий – земляк наш, пчеловод из карагандинской области.

Познакомились. Как полагается, за знакомство выпили. Пчеловод из нас самый бойкий оказался.

– Давайте, – говорит, – мосты наводить.

– Какие такие мосты? – спрашиваем.

– Ясно какие! Тут через дверь от нас заселились четыре женщины, и все без мужей. Такие, значит, и мосты.

Мы было смутились: как-то все быстро получается; не успели чемоданы разобрать с дороги, а тут...

– Да и что за женщины такие?

– Обыкновенно какие, – говорит пчеловод. – С руками, с ногами. Не красавицы, конечно, но и не сказать, чтобы страшилки. Словом, обычные курортные дамы.

– Ну, мы то, конечно, не против, – говорю я ему, – а только все равно уж больно быстро все...

– Ничего, – успокаивает пчеловод, – я в этих делах опытный. Вы, главное, подготовьте плацдарм. И выбежал за дверь; мы даже возразить не успели.

Агроном – делать нечего – достал из чемодана фрукты: «Все рано, говорит, хотел соседей угостить. Нашего хозяйства урожай».

Я от себя поставил вино, коньячок-с, ну и так еще, по мелочи, что удалось найти в баре перед отъездом. Сварщик, не смотря на свою грубую профессию, оказался романтиком: вытащил из чехла гитару: «Я, – говорит, – не только на гитаре играю. Я еще и скалолаз опытный. Приехал местные горы покорять, а приходится, вот, женские сердца».

Ну, – собрали на стол. Сварщик настроил гитару; ждем, значит. Долго ждали. Уже коньячок распробовали, а пчеловода все нет.

Распробовали уже и винцо грузинское. Сварщик разошелся: поет нам про какого-то Серегу, славного парня.

Агроном руки на животе сложил, большими пальцами друг вокруг дружки вертит, смотрит в потолок: «Что-то, – говорит, – мне подсказывает, что придется нам еще коньячку попробовать, раз такое дело».

Только было собрались мы пробовать коньячок, как вдруг – в коридоре хлопнула дверь. Громко так, раскатисто. Следом – голоса: никак, – думаем, – идут. Рюмки отставили, се-

ли как на параде, – приготовились встречать.

Только вдруг – крик, шум, грохот и звон битого стекла. В следующую минуту влетает в комнату пчеловод: глаза квадратные, рубаха порвана, кричит: «Блокируйте дверь!»

Мы и не разобрались еще, что к чему, а все же среагировали: шкаф к двери придвинули, кадку с пальмой, все подперли диваном, сами сели сверху и спрашиваем: «Что, – мол, случилось?»

– Да вот, так и так, – отвечает, – дамы-то оказались все замужние, а одна и вовсе с двумя детьми, только дети сейчас с теткой. Но и то бы ничего. Они ведь (дамы, то есть), как я пришел, поначалу даже обрадовались. Сразу рассказали, что сами самолетом прибыли еще вчера, а мужьям местов не хватило, – плетутся поездом, и раньше завтраго никак не поспеют. Это они тонко так намекнули, что раз такое дело, то вечерок-то, выходит, у них – того, свободный.

Я, понятное дело, не теряюсь: мол, мы люди современные, не мещане какие-нибудь, а культурные, и все понимаем, а потому, – и мерси, и сельвупле, – не угодно ли скрасить времечко в обществе скромных мечтателей, то есть – нас, и окрылить, так сказать, то да се, ну и, выходит так, что уже я держу одну за талью, а другая сама ко мне так и тянется губами – удалить соринку из глаза.

И вдруг, в самый разгар наших переговоров открывается дверь, и появляются на пороге четверо с чемоданами. Это неведомо каким макаром прибыли, – в ускоренном режиме,

сюрпризом, так сказать, – мужья ихние. Можя, такси словили от нетерпенья, али машинисту заплатили, чтоб быстрее вез, – чего не знаю, за то не ручаюсь, – а только стоят в дверях: кулачищи пудовые, глаза навывкате, зубами скрежещут, и все – кавказцы.

– Это что здесь такое, – так твою-растак, – делается? – спрашивают.

Я уже хотел было прикинуться, как обычно, больным, или сантехником, – много у меня есть вариантов для таких случаев, – да только где там: дамы, как их завидели, сразу в крик: «Не знаем, – мол, – кто такой, и как сюда явился, и как мы вас ждали, что даже похудели, а это – насильник и псих, и спасите нашу честь!».

Остальное – дым...

Чудом утек я из комнаты. Да только нет нам спасенья. От ресепшна, по всем этажам и до самого коридора рать идет на подмогу: все сотоварищи ихние; все родственники, и дальние, и близкие, – мстители за поруганную честь. Словом – дрянь наше дело.

Мы как услышали, так и ахнули: «Отдохнули, иттить...»

А за дверью уж топот многих ног и голоса грозные: «Отворяй, собака! Все равно достанем! Если не возьмем приступом – осадой уморим! Отворяй по-хорошему!»

Что делать?!

Агроном кричит: «Лезь все под кровать! прячься!» Пасечник с досады локти кусает; сварщик рвет на себе рубаху; в последний бой идти готовится.

Я же порядком скис: пропал не за грош. Родной бар вспомнил, посетителей, и как коньячок-с попивали за стойкой, и разговорчики – премилые, полупьяные, – и все такое родное – хоть плачь.

Однако, плачь не плачь, а жисть – вот она: ни бара, ни разговорчиков, а только погибель впереди.

За дверью же, слышим, уже команды отдают: готовят таран, собираются вышибать дверь. Уж конница выстраивается в каре, пехота окопалась, артиллерия разворачивается.

Вот и первый залп, и крики «ура», – атака началась.

У нас же ни сабли, ни ружьишка, ни пушечки. Только вино да гитара. Ни дать ни взять: тихие барды.

Обнялись мы тогда на прощанье все четверо; плачем и прощенья друг у друга просим. За что – и не спрашивайте, – сами не знаем. Ну, разве что кроме пчеловода: тот знает, за что.

– Простите, – говорю, – если чем обидел, господа хорошие. Честь была знаться с вами. А только и помирать лучше, когда с честью, если нет другого выхода. Не в окно же мы улетим!

– Нет, – говорят пчеловод и агроном, – не в окно. Это ты правильно подметил, бармен ты наш разлюбезный. Авось, на том свете откроешь заведение, – не забудь и нас, грешных,

пригласить...

Тут сварщик как подскочит, да как закричит: «Знаю, – говорит! – Знаю! Эврика! Нашел!»

«Хорошенькое дельце, – думаю, – подвинулся рассудком человек».

Сварщик же улыбается: «У меня в чемодане веревка скалолазная. Аккурат хватит до самой земли. Я и узлы такие знаю, что сколько не тяни не – развяжутся. Только бы успеть обучить вас основам».

Мы слушаем – ушам не верим. Неужто и вправду спасем-ся? Да и шутка ли – все-таки, одиннадцатый этаж...

За дверью же пушки грохочут, ржут лошади; атака полным ходом идет. Уже через замочную скважину летят ядра, картечь над головами посвистывает, – а мы скалолазное дело изучаем.

– Это, – говорит сварщик, – булинь. Это – восьмерка. А это вот – австрийский проводник.

– Какой такой проводник? – спрашиваем.

– А такой, – говорит, – австрийский. В горах – наиболее полезная вещь. Ну, а здесь, – и показывает нам железку, – «лепесток». Старая конструкция, но надежная. Все поняли?

– Не знаем, – отвечаем мы, – уж больно мудрено.

Но, мудрено или нет – делать нечего: уже дверь по швам трещит, дым столбом валит; вот-вот неприятель сдвинет платяной шкаф и в комнату ворвется.

Обвязал нас сварщик ремнями, каждому дал по «лепест-

ку», и подвел к балконной решетке. Высоко – ужас: и смотреть страшно, не то, что спускаться.

Впрочем, коньячок и тут помог. Отхлебнули мы напоследок, зажмурились, да и сиганули с балкона. Испугаться не успели, – глядь, уж на земле стоим, целые и невредимые. Только лепестки, – будь они неладны, – от трения раскалились – хоть прикуривай.

Сварщик спустился последний, и веревку за собой сдернул, чтобы погони не случилось. А и вовремя; враг уже ворвался в комнату и с балкона грозит, да только где там? Мы уж далече; чешем во весь опор по набережной, только пятки сверкают.

И больше, скажу я вам, с тех пор не помышляю ни о курортах, ни об амурных делах, особенно же – с замужними дамами.

– Скажите, бармен, – спросила Маргарита, – вы правда считаете, что мы должны принять все за чистую монету? Да и потом – что это за стиль такой? Лубочный? Вы, кажется, во все так не разговариваете. Или это разновидность юродства?

– Я – что? – смутился бармен. – Я только хотел добавить веселья. Вы простите, я все еще в образе, потому и говорю немного странно, но все же хотя бы часть из того, что я рассказал, может быть правдой. Ведь я действительно отдыхал по путевке. И уж точно соседями моими были именно пче-

ловод, агроном и сварщик, и мы пили за знакомство...

Что было дальше, я помню не совсем отчетливо... До того самого момента, как обнаружил себя на снова на вокзале в Караганде, с чемоданом в одной руке и дверной ручкой в другой. Откуда взялась эта ручка – не знаю, да и чемодан был не мой, хотя... вещи в нем были мои... Хотя и не все...

Кроме того, болела голова, а в кармане оказалась горсть песка и ракушки. Значит, на море я все-таки был...

Конечно, было немного обидно, что все прошло так быстро, и немного незаметно, но, если я не помню того, о чем рассказывал, это вовсе не означает, что этого не было. Ведь доказать последнее невозможно, да и потом... согласно теории вероятности...

– Ну так, стало быть, и довольно, – перебила Маргарита. – Я вижу теперь, что здесь только Йорик может быть искренним.

Я все больше раскаивался в своей неожиданной исповеди. Сколько раз обещал я себе не поддаваться внезапным порывам, и вот, снова поспешность сыграла со мной злую шутку. Я чувствовал, что должен защитить бармена, который, спасая меня, выставил себя в невыгодном свете.

– Почему же только я могу? – возразил я. – Ведь кто может поручиться, что все, что я говорил – правда? Может, мне все рассказал один знакомый. А может, я сам был одним из хулиганов? А может... – Тут я замешкался, но все же сказал

это, – а может, тем, – в коричневом свитере?

– Положим, хулиганом вы быть не могли; для этого вы слишком интеллигентны, – отвечала Маргарита, глядя на меня пристально, – это раз. Далее, пареньком в свитере вы тоже не могли быть, – вы слишком робки. Это – два. Ну, и выдать чужую историю за свою... простите, я ведь видела ваши глаза и руки, когда вы рассказывали, а они никогда не лгут. Это – три. Стало быть, все правда. Только я не совсем понимаю, почему вы теперь решили пойти на попятную? Ведь все было так давно, и многое с тех пор переменялось, включая вас самих. А главное, вы, как и хотели все эти годы, облегчили душу перед посторонними, – то есть, принесли своего рода жертву, отдавшись на наш суд. Но не волнуйтесь. Мы не осудим вас. Ибо никто из нас не без греха. Не так ли? – И она посмотрела на Собакевича.

– А что я? – удивился тот. – Я вообще молчал.

– Молчал-то молчал, да только и вы, мой друг, могли бы нам рассказать из своего боевого прошлого вместо того, чтобы ломать здесь комедию.

– Это – раз? – съехидничал Собакевич.

Это – все, – отрезала Маргарита.

– О, высокие, благородные слова! – прошептал Михаил, глядя на Маргариту восторженно.

– Не светите в меня своими глазами, – попросила Маргарита. – Слава богу, электричество теперь почти никогда не отключают.

И тут – погас свет.

– Вот те на... , – оглянулся Катамаранов.

– Бывают же совпадения. – Согласился бармен.

Трое за столиком вопросительно вскрикнули. Господинчик замер в своем углу.

– Не волнуйтесь, господа, – успокоил бармен. – Должно быть, это не на долго.

Помощник выглянул из-за ширмочки.

– Пиццу и картошку фри пусть не заказывают, – предупредил он. – То же касается чая и кофе.

Михаил зашуршал своим пакетом: «Будьте добры, возьмите себе свечу», – попросил он помощника.

– Не утруждайтесь, – отказался помощник. – У меня есть фонарик. – И снова скрылся за ширмочкой.

– Если вы будете так добры, – намекнул Михаилу бармен, – то... – и кивнул в зал...

– Конечно-конечно, – засуетился Михаил, и достал из пакета оставшиеся свечи.

Одну свечу поставили перед господинчиком, одну – на столик, где были трое с пиццей, и еще одну, последнюю – на

барную стойку.

Теплый, дрожащий свет разлился золотыми снопами. Тьма отступила, укрывшись по углам, не досадуя и не спеша поглотить нас, хорошо зная, что свечи в отличие от нее не вечны.

Все приняло таинственный и какой-то рождественский вид.

– Сама судьба велит нам продолжить, – сказала Маргарита. – В темноте и блеске свечей самые глубокие душевные порывы так и просятся наружу. А если прибавить к этому действие вина, то условия, можно сказать, идеальные.

– Вы пока рассказывайте, – сказал бармен, – а я пойду, проверю предохранители.

И, взяв со стойки свечу, скрылся во мраке.

– Когда давеча погас свет, – заговорил вдруг Михаил, – я вспомнил, как ночью я иногда просыпаюсь в темноте от того, что мне кажется, будто я падаю. Падаю куда-то сквозь эту темноту, не находя опоры; понимаю, что это конец, и все падаю, и падению этому нет конца, как нет конца ужасу, который охватывает меня. Уже давно этот кошмар преследует меня, и даже проснувшись мне все кажется, что я падаю, падаю...

Знаю, жизнь моя скучна и бесполезна, но все же и в ней есть одно истинное переживание: падение. Жгучий ужас па-

дения и осознание скорой, неминуемой гибели одно дает мне ощущение полноты жизни и жажды ее... и все – иллюзия. Все – только сон...

Мы замерли, удивленные внезапными откровением Михаила.

– И вот теперь... – Михаил сдавил виски, – теперь опять мне показалось, что я лечу в темную эту глубину... впрочем, нет. Пустое. Похоже, я действительно никудышный рассказчик. – Михаил слабо улыбнулся, и обвел нас виноватым взглядом.

– А вы глубже, чем кажется, – задумчиво сказала Маргарита.

– Бармен столько усилий приложил, чтобы развеселить нас, буркнул Собакевич, – а вы снова за свое.

– Плохо дело, – раздался голос бармена, а затем и сам он появился из темноты. – Предохранители в порядке. Стало быть, проблема глубже, чем кажется.

– Вот совпадение, – горестно усмехнулся Михаил.

– Действительно, совпадение, – сказал Катамаранов, отвечая на вопросительный взгляд бармена. – Михаил рассказал нам давеча об одном своем переживании...

– Пустяки, – перебил его Михаил. – Просто повторяющийся сон. Вы, Катамаранов, кажется, один остались, кто еще не рассказывал.

– Ловко выкрутился! – хохотнул Собакевич. – Р-р-раз, –

и в дамках.

– Вспомните притчу о бедной вдове, – вздохнул Михаил.

– Михаил прав, – согласился я. – Пусть каждый берет носу по силам.

Темнота обступала нас. В темноте стол, освещенный золотым сиянием свечей, был словно обломок погибшего в бурю корабля, а мы – единственными уцелевшими.

То, что будет, еще не случилось; то, что было – лишь чей-то сон, и все мы движемся сквозь эту темноту, то ли навстречу чему-то, то ли бежим от чего-то, что настигает нас, и приближается, и вдруг...

...Вдруг мы увидели, что господинчик оставил свой столик и, дрожа и бледнея, мелкими шажками подбирается к нам. Блокнот, в котором он писал все это время, теперь лежал закрытым.

Удивленные, мы наблюдали за господинчиком, а он шаг за шагом подбирался все ближе, подергиваясь и пританцовывая, пока свечи не осветили его с головы до ног. Здесь он остановился и замер, вытянув шею.

Какое-то время мы смотрели друг на друга. Наконец, он заговорил.

– Простите, господа, что я позволяю себе... Хотя, вы и сами звали давеча, но... Я ведь не люблю бывать на людях, и

даже боюсь... да вот только... понимаете ли, во мне теперь самая нужда... Особенно вот вам, Маргарита Николавна, и вам. – Он поклонился Маргарите и Собакевичу.

– Что такое? – изумился Собакевич. – Вы нас знаете? Ах да, мы же довольно громко говорили...

– Н-нет-нет, – перебил его господинчик. – Знаю я вас не первый день, вот только вы со мною незнакомы. Потому что, как я уже сказал, я не люблю быть на виду, да и повода такого не было, чтобы знакомиться, но – уверяю вас, что теперь-то как раз самое время.

– Что-ж, – ответила Маргарита, – если так, то – в сторону интриги. Для начала представьтесь: кто вы, откуда, и как узнали о нас. Впрочем, с нашей профессией...

– Именно с ней! – отвечал господинчик, прижимая руки к груди. – Именно.

– Не присесть ли вам для начала? – предложил Катамаранов.

– Нет-нет! – воскликнул господинчик, и даже попятился. – Не беспокойтесь. К тому же... Впрочем – ничего, а только я постою.

– Что-ж, если вам это удобнее...

– Итак, – вставил Собакевич, – звать вас...

– Конечно-конечно, – спохватился господинчик. – Звать меня – Рогов. Живу я не то, чтобы далеко, но и не очень близко отсюда, а именно – по улице Бадина. Сколько помню себя, всегда жил я там...

– А по имени-то вас как? – поинтересовался Собакевич.

– Ах, это не имеет никакого значения! – ответил Рогов, и на лице его мелькнуло выражение досады. – Сколько помню себя, всегда меня называли Роговым, так что имя мое имеет значение разве что при заполнении анкет.

– Да, – продолжал он. – Рогов с улицы Бадина. Больше обо мне, пожалуй, и нечего сказать, за исключением одного только, – а именно причины, по которой я здесь.

– Вы знали, что найдете нас в этом баре? – спросила Маргарита.

– Знал, – вздохнул Рогов.

– Это каким-таким образом, позвольте спросить? – удивился Собакевич.

– Я все, все объясню, – обещал Рогов. – Мне только нужно немного времени. Ведь я все время сбиваюсь, что, впрочем, не удивительно в теперешнем моем состоянии. А между тем, рассказать мне нужно много, очень много, и потому – прошу вас, – он молитвенно сложил свои узкие ладони, – прошу, не перебивайте меня и не отвлекайте, ибо то, что я имею сказать, как я уже сказал... – Рогов запнулся, и воздел к потолку страдальческий взгляд. – Ну вот, видите? Я все же сбиваюсь, сбиваюсь...

– Прошу вас, – сказала Маргарита, протягивая к нему руки, – прошу, не волнуйтесь, а лучше присядьте, отведайте вина и расскажите, не торопясь, все, что считаете нужным. Обещаю, что ни я, ни мои товарищи, – она взглянула на

нас, – не осудят вас, и не сделают предметом насмешек.

– О нет, – печально улыбнулся Рогов. – Вы опоздали. Я сам давно уже осудил себя. И более этого вряд ли кто сможет меня осудить. А насмешек я не боюсь. Я к ним привык, потому что... Впрочем, обо всем по порядку. – Рогов замолчал, видимо, собираясь с мыслями. – Если позволите, я начну несколько издалека, – попросил он. – Пусть это и отнимет больше времени, но так и вам будет понятнее, и мне проще рассказывать.

– Поступайте, как вам удобнее, – кивнула Маргарита.

И Рогов заговорил. Первоначально он краснел, запинаясь и с трудом подбирал слова, однако постепенно пообвык, и речь его полилась свободнее. Всецело поглощенный своим рассказом, как человек, которому долгое время некому было излить душу, он то бегал по залу, жестикулируя и восклицая, то замирал, сжавшись и дрожа, как лист на ветру, то вдруг делался спокоен, то раздражался смехом. Изумленные, слушали мы, не отводя глаз.

Вот его история от первого до последнего слова.

Как я уже сказал, я – Рогов. Да-да, Рогов, с улицы Бадина. Спросите любого на этой улице, где живет Рогов – и вам укажут на старый двухэтажный дом у дороги, за старым за-

бором, и дворнягой, что сидит у забора.

Сколько помню себя – всегда жил я в нем. И всегда за окном был этот забор, и даже дворняга, кажется, была та же. Вот только в последние годы прохудилась крыша, а зимой дует из окон, и в комнатах моих стоит дикий холод.

Всю жизнь прожил я там. Потому-то меня и знают все, хотя я давно уже ни с кем не вожу знакомства, никого не трогаю, и хочу лишь, чтобы и меня никто не трогал.

По образованию я, кажется, филолог. Хотя, почти никогда и не работал по этой части. Помню, что ходил куда-то с портфелем... чучело на стене... сто тенге за урок... Потом вдруг понял, что больше так невозможно, и выбросил портфель.

Я, в общем-то, человек неприхотливый. Многого мне не надо, поэтому и работу я всегда находил такую же, как и я сам. Работал на складе; работал дворником; работал сантехником, и даже таксистом: Платон, сосед-алкоголик, у которого отобрали права, оформил на меня доверенность, с условием, что половину выручки я буду отдавать ему.

Он человек добрый, хотя и никогда не бывает полностью трезв. Из всех он был единственный, с кем я поддерживал хоть какие-то отношения. И, что самое странное, он никогда не просил у меня на выпивку...

Да. Я стал таксистом. То было, пожалуй, лучшее время.

Я ездил по городу. Разные люди, чьих лиц я не помню, садились в машину, и я вез их, куда мне скажут. Я даже сумел скопить некоторую сумму, и купил себе шкаф: до этого одежда моя, книги и другие вещи лежали, где придется.

Платон же, получая свою долю, целые дни проводил у ларька, и был тоже по-своему счастлив.

Так шло с весны и до самой осени. А потом зарядили дожди. Забор потемнел от влаги, к стеклу прилип желтый лист, а под окном появилась рано состарившаяся женщина с неприятным лицом, и унылого вида отрок с сальными волосами; бывшая жена и сын Платона, – и машины не стало.

К счастью, пока я ездил, я успел приобрести кое-какие связи; например, встретил бывшую одноклассницу Васильеву, которая работала кассиром на АЗС. Она то и уговорила хозяина дать мне место заправщика.

Конечно, с утра до ночи вставлять пистолет в бак и мести асфальт – не предел мечтаний. Но, повторяю – я человек неприхотливый. Вообще, на все тогда я смотрел словно бы со стороны и держался особняком. Ведь жизнь, согласитесь, так коротка, и затеряна слабой искрой меж полюсов вечности, а потому глупо принимать ее всерьез, и ввязываться во что-либо по-настоящему.

Днем, при свете солнца, занятый текущими делами, я действительно так думал. Но вечерами делать было решительно нечего: я приходил домой, забирался с ногами на диван, и закутавшись в одеяло сидел и смотрел в темное окно, и то-

гда мне начинало казаться, что та самая вечность, холодная и равнодушная, как пустая бутылка, вольется в это окно вместе с темнотой, и поглотит меня – слабую искру.

Я не гасил свет...

Была зима. За окнами гулял ветер и завывал в щелях и, бывало, до утра я не мог сомкнуть глаз, и только молил кого-то о том, чтобы скорее настал рассвет, и ушла тьма.

Больше всего в такие минуты мне хотелось, чтобы рядом был кто-то. В комнатах подо мною пил Платон, но в одиночку преодолеть пространство своей квартиры и спуститься по неосвещенной скрипящей лестнице на первый этаж я был не в силах...

И вот однажды, – помню это как сегодня, – погас свет. Проводка в доме старая, а собрать достаточно денег на ремонт большинству жильцов не по карману, поэтому у нас все время что-то происходит...

Тьма, которая доселе глядела в окна, вдруг оказалась внутри.

«Вот оно...» – подумал я, и почувствовал, как бездна близится, и уже я балансирую на самом краю.

Слева от меня стоял шкаф. В нем, – я помнил это хорошо, – на одной из полок был огарок свечи, который я положил туда когда-то вместе с остальными вещами.

С колотящимся сердцем, в холодном поту я добрался до шкафа, открыл дверцы и стал торопливо обшаривать полку

за полкой. Тьма стояла за моею спиной и всматривалась пристально. Я затылком ощущал этот взгляд и судорожно, наощупь перебирал содержимое полок, которое шуршало, перекатывалось, звенело под моими непослушными пальцами и валилось на пол.

Наконец, я отыскал свечу и зажег ее.

Тьма отступила, но не ушла совсем. Она знала, что свеча в отличие от нее не вечна, я думаю...

Я поставил свечу на письменный стол у окна. Она дважды отразилась в стеклах. Теперь, когда не светила лампа, окно из пугающего черного квадрата сделалось вдруг глубоким, словно... Вы помните, в нашем детстве были такие шары с окошком, а в окошке – фотография. Помните? Вот и мое окно будто бы враз стало таким шаром. Пространство за ним раздвинулось, и я увидел, что там тихо шел снег и горел фонарь, и спали кусты и деревья под снегом.

Это немного успокоило меня. Я присел на краешек стула и стал разглядывать двор, будто бы в первый раз замечая и его, и фонарь, и дворнягу, которая сидела у забора, и будто ждала кого-то.

Понемногу страх улегся, и все стало почти как прежде. Я даже осмелел на столько, что смог обернуться, и оглядеть комнату, в которой был.

Свеча слабо освещала письменный стол. Темнота покоилась глубокими провалами по углам, и где-то возилась

мышь, от чего тишина делалась еще более весомой.

Я понимал, что уже слишком поздно, и электричество, скорее всего, не дадут до утра, поэтому чтобы хоть как-то развлечь себя, решил прибраться в свое жилище.

Я поднимал упавшие с полок вещи и раскладывал их по местам. То были обычные безделицы; старые счета, складной метр, шкатулка, а в ней – склянки и ленты; чья-то брошь; катушки с нитками, лампочка, тетрадь с пружинным переплетом...

В переплет был вставлен карандаш. То была моя старая тетрадь, еще со студенческих лет, неведомо как сохранившаяся.

От нечего делать я присел за стол и открыл ее. Несколько первых страниц были исписаны моим малопонятным почерком, а дальше ничего не было. Я стал было перечитывать написанное, но ничего не понял, закрыл тетрадь и снова поглядел в окно. Там по-прежнему шел снег и перемигивались огни в темноте.

Чтобы не думать о страхе, который, – я знал, – мог вернуться, я открыл тетрадь на чистой странице, взял карандаш и написал: «Идет снег». Потом подумал, и добавил: «Светит фонарь».

Я давно уже отвык писать. Строчки ложились криво, и руке было неловко. Но тут под фонарем появился прохожий, и поэтому я все-таки написал еще: «Под фонарем остановился прохожий. У него бледное, худое лицо и темные глаза, хотя,

при таком освещении не сложно и ошибиться».

Я оторвался от тетради. В свете свечи бумага представилась мне древним манускриптом, а сам я был будто отшельник в своей келье. Сравнение мне понравилось, поэтому я снова взял карандаш.

Человек все еще стоял под фонарем. «Возможно, он ожидает кого-то. А может быть, случайно зашел не в тот двор, и гадает, вернуться ли ему, или попытаться пройти напрямик», – написал я.

Когда я снова поднял глаза, человека уже не было. Только снег по-прежнему шел, тихо и густо. Должно быть, он тоже шел теперь куда-то, и снег ложился ему на плечи, и поскрипывал под ногами, и перемигивались за его спиной дальние огни.

Мне стало интересно, как его могли звать, куда он идет и зачем; что было с ним раньше, и что случится после.

Я попытался это описать.

Пламя свечи то замирало, то начинало приплясывать, от чего тени скользили по стенам, и предметы в комнате казались живыми.

Выдуманная мною история так увлекла меня, что я не заметил, как настало утро.

На следующий день, вернувшись домой, я снова сел за стол. И снова, как и в первый раз, просидел почти до утра.

На третий день я купил новую тетрадь, авторучку и свечу...

Так, неожиданно, у меня появилось увлечение.

Сроду я не увлекался ничем, и вот, пожалуйста: я едва мог дождаться окончания рабочего дня, чтобы поскорее открыть тетрадь – и тогда забор, и фонарь, и сами стены моего жилища словно бы раздвигались, исчезали, и я летел куда-то с головокружительной быстротой, – и полет этот был упоителен!

Днем я вставлял пистолет в бак, управлялся с метлой и мусорными пакетами, а ночью, не помня себя, парил....

Мир, который я создавал на бумаге, разрастался. В нем появлялись новые герои. И каждый требовал своего места, каждый норовил взять главную роль.

Я осаживал наиболее назойливых из них, наказывал посправедливости провинившихся, и воздавал почести тем, кто был скромн, умен и отважен. Словно добрый пастырь, я управлял их жизнями, а они владели моею. Мы были словно бы одно целое, и – я был счастлив. То, чего не было у меня, – дружбы, семейных уз, любви, – разом было дано мне. Нет, это не бред сумасшедшего; я ведь понимал, что все существует только в моем воображении, и все же та, выдуманная реальность, была и ярче, и полнее действительности, с ранних лет окружавшей меня. Герои мои казались мне живее, например, хозяина бензоколонки, который все сидел за своим столиком в углу, и только поглядывал то налево, то

направо.

Я лелеял их; я растил их; я оберегал их; я наделял их чертами благородными, заботясь о том, чтобы черты эти представляли их людьми живыми, из плоти и крови.

Стопка исписанных тетрадей на столе росла, и каждую ночь в окне моем горела свеча; раз начав писать при ее свете, я никогда не изменял этой традиции.

Казалось, уже я мог осязать их, моих героев.

Они обступали меня, склонялись над тетрадью и, шумя и перебивая друг друга, споря и даже ссорясь, диктовали мне, нашептывали, старались ухватить авторучку, чтобы от себя добавить тут и там нужное слово, и заставляли писать, писать, писать, пока силы не покидали меня окончательно, и я не засыпал иногда прямо за столом.

Наверное, мне нужно было быть более твердым с самого начала...

Постепенно я перестал следить за собой. Часто приходил на работу с опозданием и не исполнял данных мне поручений. Начальник посматривал на меня косо. Думаю, он подозревал меня в пьянстве. Впрочем, мне было все равно. Вообще, ко всему, что не было связано с моим главным занятием, – сочинительством, – я относился со все большим безразличием.

Бывшая одноклассница Васильева приносила из дома то бутерброд, то борщ в банке, и жалела меня.

– Жениться тебе надо, Рогов, – говорила она, глядя своими добрыми карими глазами, – а то пропадешь...

Она всегда и ко всем была добра, – я помню это еще со школы...

Я понимал, конечно, что подвожу ее, но – я не мог, не хотел... я только ждал ночи, и плохо помню, что было днем.

О, эти безумные, упоительные ночи! Вас-то я помню... Помню яркие, чарующие цвета. Помню плавный, стремительный полет, и дивной красоты кружева холодного пламени, которые возникают из ниоткуда, соединяются причудливым образом, неведомым мне, но – с моей помощью и благодаря мне, – и оседают на страницах моих тетрадей буквами, строчками, абзацами, страница за страницей, глава за главой.

Разве могло это сравниться с тем, что окружало меня в повседневной жизни? Разве мог я после этого всерьез воспринимать что-то другое?

Я даже посмеивался над Васильевой в ответ на ее увещания.

Как человек не осознает своего перехода в сон, так и я не помню, когда именно реальность отделилась от меня окончательно, и ничего не осталось кроме дивного мира, в котором я теперь жил; кроме голосов, которые рождаются из ниоткуда и зовут, вдохновляя, окрыляя надеждой, лишая собственной воли и наполняя неведомой, другой силой, уводя

все дальше от опостылевшей комнаты, от всего, что составляло мое окружение, и что я сбрасывал теперь, как гусеница сбрасывает свой кокон...

...И вот однажды голоса смолкли.

Я поднял глаза и увидел фонарь, застывший вопросительным знаком на фоне бледного предрассветного неба.

Свеча догорела. Передо мною была стопка тетрадей. Комнату наполнял пепельно-серый свет раннего утра. Окно было открыто, и за окном этим тихо стояли клены, укрытые молодой листвой. Забор утопал в зарослях шиповника, пенящихся розовыми соцветиями, и утренняя свежесть струилась через подоконник.

– Надо же, – подумал я. – Ведь это – лето.

Я встал и прошелся по комнате. При этом окружающее показалось мне ушедшим, отдалившимся и – словно бы плоским, как если бы я смотрел на себя со стороны, и в то же время действовал от первого лица...

Комната была до крайности запущена. Всюду клубами лежала пыль и обрывки бумаги. Полы были истоптаны, цветок в горшке иссох, а из мутного от пыли зеркала на стене, как с речного дна, на меня глянул кто-то безумный, с воспаленными глазами и включенной бородой.

Я остановился и провел ладонью по лицу: борода у меня

действительно была.

Сделав это открытие я, не о чем более не думая и не чувствуя ничего, кроме животной какой-то усталости, доплелся до диванчика, и – все провалилось...

Не знаю, сколько я проспал: может, несколько часов, а может и несколько дней, но только когда в следующий раз я открыл глаза, за окном был вечер. Клены шумели, с детской площадки доносились чьи-то голоса и удары по мячу.

Я спохватился было, что проспал свою смену на бензоколонке, но понял вдруг, что больше там не работаю.

Как и на что я жил все это время, неизвестно. Память моя была словно подернута густым не то туманом, не то дымом.

Зашел Платон и принес селедки и кусок хлеба на тарелке. Видимо, это он присматривал за мной все это время. Впрочем, я ничего не сказал ему. Кажется, во мне не было слов. Платон тоже ничего не сказал мне. Он только поставил на стол тарелку, покачал головой и вышел, а я остался один.

Так прошел вечер, и настала ночь. Я снова сел за стол и зажег огарок, но ничего не происходило. Тетрадь, открытая на новой странице, напоминала пустыню. Я взял было авторучку, но тут же положил ее на место: во мне была такая же тишина, как и снаружи.

Той ночью я впал в тоску.

Я был один. Совершенно один...

Не стану описывать последующие дни. Они были невыразительны, как засвеченная фотопленка. Помню, снова заходил Платон, и с ним кто-то еще, и стакан вина перед собою, – но я отверг вино, и сбрил бороду. Больше – ничего, до того самого момента, когда таким же тихим и ясным летним утром, как то, в которое я очнулся, я стоял у бензоколонки – в свежей рубашке, без бороды, и в начищенных туфлях. Одноклассница Васильева поглядывала на меня из окошечка кассы.

Не знаю сам, на что я рассчитывал, но, к моему величайшему удивлению, меня снова приняли. Конечно, с условиями и оговорками, и за более низкую плату, чем раньше, но я и тому был рад, что теперь хотя бы не умру с голоду. Бесспорно, наша жизнь – лишь слабая искра меж полюсов вечности, но, не имея ничего другого, мы привыкли ею дорожить.

Итак, я снова работал. Теперь я всячески старался походить на того, кем меня хотели видеть, и мне это даже удалось; я мел двор, вставлял пистолет в бак, не спорил с начальством и всегда находил себе какое-то занятие; то просил Васильеву позволить мне помочь ей пересчитать выручку; то бегал в ларек через дорогу купить другим заправщикам свежих газет и заварки к чаю.

Кажется, я почти восстановил утраченную репутацию. На-

чальник лишь изредка косился на меня подозрительно. Васильева снова стала подкармливать бутербродами. Другие завправщики обсуждали со мною газетные новости, и порою мне самому казалось, что я наконец-то стал одним из них...

Но – рабочий день заканчивался, приходило время возвращаться домой, и там, дома, меня ждала пустота. Пустота обступала и вползала в душу, туда, где раньше сплетались пламенные кружева – и глядя на пустой письменный стол, я острее, чем когда-либо тосковал о блеске свечи, о шелесте страниц, о снеге, что летит под фонарем...

Я снова пробовал писать. Вы спросите – о чем? Возможно, это покажется наивным, но я пытался воссоздать вечер, с которого все началось. Я сидел за стол, смотрел в окно и описывал то, что вижу: «Горит фонарь. Под фонарем выются мошки. Дворняга подняла ногу у забора...» Но – ничего не происходило. Голоса не возвращались. Я никуда не летел. Темнота не пугала более, и даже жизнь не представлялась искрой меж полюсов вечности. Словом, неожиданно и в одночасье я вдруг стал нормальным человеком...

И все же, я был болен, как никогда. Те огненные кружева выжгли внутри меня что-то, без чего я не мог быть. А тут еще лето кончилось; снова зарядили дожди, и земля под окнами зажелтела павшей листвой...

Я понял вдруг, что как ни плоха осень, но зимы с ее сквозняками и тоской о былом я точно не вынесу. Поэтому я про-

дал шкаф, поехал на улицу Ерубаева, и на вырученные деньги купил револьвер.

Тихим и светлым осенним днем я стоял с револьвером посреди комнаты.

Что-ж... – думал я, – все кончено. Я сделал все, что мог, и не желаю больше, не хочу, не могу... Поэтому теперь – самое время. Да-да, теперь уж точно. Это будет лучше всего, и честнее, и благороднее, и... главное – не думать, а сразу, сразу...

Я вдруг представил, как на звук выстрела сбегутся соседи; как Платон будет пить на моих поминках...

Мне стало жаль себя. Помнится, я даже всплакнул.

С тоской огляделся я, прощаясь навсегда со своим жилищем.

Там, где раньше стоял шкаф, теперь было пыльное пятно. Вещи снова лежали по углам и тоже пылились. Солнечный луч падал на истертые доски пола, и по доскам этим ползла пчела. Тетради лежали все так же, на столе. Те самые тетради, с которых все началось; те самые, из-за которых в руках моих оказался револьвер, и приходилось расставаться с жизнью именно теперь, когда за окном бабье лето, когда так легко дышится, и блестит паутинка, зацепившись за карниз.

«После моей смерти, – подумал я, – моими рукописями растопят печь. Вряд ли кому придет в голову разбирать мой неясный почерк, и думать над тем, что я хотел сказать в своих текстах».

Признаться, о последнем я и сам имел довольно смутное представление. Ведь пока я писал, мне некогда было думать, а после я ни разу не перечитывал написанного, чтобы не ранить себя воспоминаниями. И все же теперь, глядя на рукопись, я понял вдруг, что глупо будет, если то, из-за чего я лишил себя жизни, тоже исчезнет бесследно, и никто, никто не узнает... Мало того, мысль эта даже озлила меня.

Я опустил револьвер, и застыл в нерешительности.

В самом деле, – думал я. – Я столько страдал. Столько пережил. Я познал, что такое полнота жизни, и испил до дна чашу пустоты ее. И что же теперь? Остаться непонятым другими и самим собою? Ведь то, о чем я писал, исполнено загадочного смысла; смысла, который может воссиять над всеми другими смыслами, если я останусь жить, – и истлеет в сырости чужих подвалов, как истлеет моя плоть, если я погибну. Разве я не в ответе за то, что будет с нею?

Я даже прошелся по комнате, словно бы проверяя на прочность пришедшую мне мысль. Но мысль была верна, и не подлежала никакому сомнению. Мало того; она сама думала себя за меня, и помимо меня; и я был с нею во всем согласен, и полагался на нее всецело, не понимая ее, не осо-

зная, но твердо зная, что она – истина: так ребенок льнет к родителям и доверяет им без оглядки свою жизнь; так радуга возникает в небе после грозы; так бывшая одноклассница Васильева смотрела на меня в день моего второго пришествия на заправку.

И вот что это была за мысль: «Что с того, что я не понимаю написанного мною? Не значит ведь это, что оно лишено смысла? Конечно же, нет! Написанное мною вовсе не бессмысленно хотя бы потому, что мне столько пришлось пережить ради него. Нет, оно не бессмысленно! Напротив, оно наделено столь глубоким смыслом, что оказалось недоступным пониманию написавшего его. Но оно воссияет над миром, и тогда мир увидит, что творение превзошло своего творца».

Мысль эта была строга и торжественна, и когда она звучала в моей голове, я представлял себе тяжелое золото, и кафельный дым, и чей-то бас, рокочущий: «Превзошло Творцаа-а...»

«Творение превзошло Творца! – Воскликнул я, бегая по комнате и размахивая револьвером. – Творение превзошло Творца! – А посему – оно не должно, не может уйти бесследно, как не может быть напрасным все, чем я жил и дышал доселе!».

Паутинка перемигивалась с осенним солнцем. Пчела поднялась с пола и, сделав круг по комнате, вылетела в окно, в

последний раз устремившись в бирюзовую высь. Дворняга у забора махала хвостом.

«Пусть я и умру, – шептал я, и слезы струились по моим впалым щекам, – но раньше тексты мои обретут жизнь».

Я положил револьвер на стол, опустил на краешек стула и до ночи глядел на тетради, вдыхая стылый осенний воздух с запахом прелой листвы.

Дождливым сентябрьским утром я поднимался по гранитным ступеням здания главпочтамта.

В одной руке у меня был зонт, в другой – бумажный сверток.

Решение относительно моего детища возникло неожиданно, будто бы я осознал все, сказанное собственным голосом самому же себе. Нет, это не было похоже на голоса, слышанные ранее. То был совсем дугой голос. И хотя я и говорю, что он – мой, мне он вовсе не принадлежал, а скорее был внушен другим, еще более вещим голосом, который слышал не я, но голос, сказавший мне...

Той ночью, сидя над рукописью, я будто бы уснул; и хотя уж точно я не спал окончательно, а все же и не бодрствовал. Сидя на краешке стула и глядя на стопку тетрадей, я вдруг заметил, что стол, на котором они лежали, отдалился

от меня, при этом оставаясь близко, словно бы я смотрел на него в перевернутый бинокль. Потом в высоте над ним зажегся яркий свет, отчего пространство за столом провалилось в темноту, и в темноте этой возникли ряды кресел. Обложка той тетради, что лежала сверху, распахнулась, и слышались аплодисменты. Я увидел, что в креслах сидели люди; множество людей, и все они вставали и кланялись мне, аплодируя, а потом – я очнулся.

Стол по-прежнему стоял передо мною. В окне молодой месяц серебрился тонкой нитью. Все стало как прежде, и лишь голос, не слышимый мною, но вездесущий, возник эхом ушедшего видения, и я понял: творению моему уготована сцена.

Не с бездушно мерцающего экрана сойдет оно в мир, который экран суть суета сует, презревшая всякую сокровенность; не с печатного листа, который хоть и говорит, а все же молчит; не по радиоволне слетит, которая волна суть бестелесный призрак, но со сцены, которая суть – Жизнь.

Да! Со сцены, где только и возможно истинное соперничество и единение, оно – живое, каким я создал его, сойдет к людям живым и войдет в сердца их.

Многие услышат, и прозреют, и отрекутся от старых стезей, и пойдут новыми стезями. Многие.

И над всеми буду я – Рогов с улицы Бадина. Безвестный заправщик; последний среди последних, дошедший до черты, за которой последний становится первым, – я, нищий,

стану богаче царей земных, и...

...отрясая дождевую воду с зонта своего я, Рогов, открыл дверь главпочтамта и шагнул внутрь. В пакете моем была рукопись, упакованная в двойную обертку, и два письма.

Итак, я решил передать свое творение театру.

Вы спросите, наверное, как именно собирался я это сделать? Ведь никто не поверит безвестному заправщику, тем более такому непредставительному, как я, что он создал что-то заслуживающее внимания. Однако, я все обдумал.

Всем известно, что чужое у нас принимают лучше, чем свое. Так же как и то, что встречают по одежке. И то и другое является глубочайшим заблуждением, из-за которого случилось уже немало бед, однако – в сторону лишне. Миссия моя не исправлять старые пути, но – дать новые, и каким способом я добьюсь своего, не так уж и важно, если цель оправдывает средства. Словом, я сменил одежду и стал чужим одновременно.

Надо сказать, что как бы ни был я одинок, а все же у меня был родственник. Давным-давно он перебрался жить за границу, и мы не виделись с тех пор. Не помню, кем он мне доводился, а все же он, зная, что я один на всем свете, нет-нет да и присылал то открытку к рождеству, то письмецо, а

то и звал к себе. Приехать я, конечно, не мог, как не всегда отвечал и на его послания, но в этот раз в нем-то и была у меня нужда.

Как я уже сказал, у меня было два письма. В одном из них, адресованном родственнику, я просил его, сменивши обертку, переслать рукопись со своего адреса в наш театр, на имя директора. Ему, директору, и было адресовано второе письмо.

В письме этом я представлялся европейским режиссером, неким Яном Лозинским. Согласно легенде, Ян родился в нашем городе, но давно покинул его, обрел славу за пределами страны и вот недавно, чтя память предков, посетил родные места. Конечно, как человек искусства, он не мог обойти вниманием наш театр, и побывал на одном из спектаклей.

Увиденное на столько поразило Яна, что, возвратившись домой, он тут же принялся за сочинение одной вещицы, которую и предлагает театру в дар за то эстетическое наслаждение, которое малая родина доставила режиссеру в его, театра, лице.

Родственник оказался человеком исполнительным; без лишних вопросов он сделал все, как я просил, и довольно скоро по такой же точно схеме, только теперь в обратном порядке, я получил ответ.

Администрация театра уведомляла г-на Лозинского в

том, что пьеса его рассмотрена и утверждена к исполнению в этом же сезоне. Особо отмечались художественные достоинства пьесы, ее оригинальность и новизна. Автора благодарили за оказанную театру честь быть первым, кто представит миру выдающееся творение европейского гения, и выражали надежду на дальнейшее сотрудничество.

Первой моей реакцией было изумление. Потом, как ни странно, – грусть. Помнится, прочтя письмо в третий раз, и окончательно убедившись, что оно – не сон, я заплакал. А потом пошел на заправку и снова уволился.

Хозяин молча подписал заявление. Думаю, он был рад окончательно расстаться со мной. Одноклассницы Васильевой не оказалось на месте, чему и я в свою очередь был рад. Из всех она была единственным человеком, который по-настоящему мне сочувствовал, и мне не хотелось снова видеть ее глаза. Меня мучила совесть каждый раз, когда она смотрела на меня с сожалением и нежностью.

Прямо с заправки я отправился в театр и заявил, что мне нужна работа. Любая работа, не требующая квалификации. И вновь судьба благоволила мне: театру срочно требовался разнорабочий, и меня тут же приняли.

Мне выдали пропуск, халат и наказали явиться на следующий же день, без опозданий.

Так я стал служить искусству.

О, театр!

Спеша на службу с заветным пропуском в руке, я уже мечтал о том, как в минуты досуга буду наблюдать за репетициями из зрительного зала и по-дружески подсказывать актерам, как сыграть лучше; представлял, как режиссер, видя мою осведомленность, советуется со мною, и уже хлопочет о моем повышении...

Но – то были мечты. В действительности же, дни напролет я проводил в плохо освещенных помещениях без окон, где всюду были вешалки, на которых пылились нелепые одежды, стояли листы фанеры и какие-то коробки. Я видел, как на сцену выходили актеры, размахивали руками, спорили, кричали, даже ругались, совсем как герои моего произведения, когда я писал его. Иногда они принимали задумчивый вид, замирали в изысканных позах, и снова ходили и спорили. Между ними выделялся толстенький человечек в вязаном свитере, с широким носом и клочками волос по бокам головы. Он больше всех кричал, и размахивал короткими ручками, и я понял, что это – режиссер.

Мне все хотелось послушать, о чем у них идет речь, но стоило мне остановиться, как тут же за мою спиной раздавалась брань и топот ног: то прораб Шестов уже подгонял меня, волоча следом то холстину с намалеванным пейзажем,

то ворох платьев, то алебарду, и я, подхватив свои коробки, снова бежал из одного чулана в другой, спускался под сцену с гаечным ключом, и с отверткой лез на колосники ее.

Режиссер, к моему удивлению, казалось, вовсе не желал знать с разнорабочим Роговым. Несколько раз я с загадочным видом пытался заговорить с ним, но всегда он находил предлог избежать беседы. Казалось, он даже и не смотрел на меня. Если же ему и случалось сообщить мне что-либо, делал он это главным образом через Шестова.

– Шестов! – Кричал он. – Что тут делают посторонние на сцене? Что они тут крутятся под ногами? Что они тут все вынюхивают? Они скоро в рот начнут смотреть актерам! Может быть, они лучше актеров знают, как надо играть роль? А может, им совсем нечем заняться? Так ты скажи, скажи нам! Мы живо это уладим. Откуда они вообще взялись?! Ты спроси, спроси их! Они хоть раз были в театре? Они вообще знают, что это такое?! Это невысказано! Невысказано!

Спасая от режиссерского гнева, Шестов сослал меня за кулисы, запретив до поры появляться на сцене, куда он посылал теперь других разнорабочих.

Так, с самого начала изгнанный, я тосковал в пыли складских помещений и гадал о том, что творится там, под софитами. Актеров я видел теперь только издали, да и то мельком. Я помню гордую и недостижимую как Альфа Центавра

Эмилию Леопольдовну; суетливую и верткую, как карась Ларочку; братьев Хмуровых и влюбленную в них обоих старую деву Иванову. Вместе с другими я восхищался я бакенбардами и манерами потомственного аристократа Валентина Михайловича, эксцентричностью и зеленым платьем Маргариты Николаовны, и в страхе замирал при виде Собакевича. Я ловил каждое их слово, следил за каждым движением и робко восхищался ими; меня же не видел и не знал никто.

Из всех только с осветителем Петровым я смог найти общий язык. Иногда, когда гасли софиты, и труппа расходилась по домам, он приглашал меня в свою будку на верхнем ярусе, и глядя на пустую и темную сцену долго говорил об искусстве; то есть, он пил за него.

Несмотря на некоторые неудобства, все было бы ничего, если бы не нужда.

Тот, кто не знает, сколько получает разнорабочий в театре, не поймет этого, даже если я пушусь здесь в объяснения. Скажу только: получает он немного. Однако, я человек неприхотливый, и мог справиться, – если б не Платон.

Как-то, будучи пьян, он попал в определенные... обстоятельства, выйти из которых стоило ему денег. Денег у него не было. Жена и сын – единственные родственники, – не желали с ним знаться. Тогда я, помня о помощи, которую он в свое время оказал мне, решил, что не могу остаться в сто-

роне. Я истратил все свои сбережения, занял у осветителя Петрова и взял кредит. Таким образом, Платон развязался со всеми обстоятельствами, но я почти голодал. Платон на радостях почти каждый день звал меня выпить, но пить я не мог; я очень хотел есть, и ночами не спал, вспоминая пирожки бывшей одноклассницы Васильевой и огненный борщ в банке, с кусками отварной говядины.

И вот, когда Рогов уже с трудом находил в себе силы, чтобы являться на работу, Ян Лозинский получил от режиссера письмо.

«Глубокоуважаемый Г-н Лозинский! – Писал режиссер. – Спешу сообщить Вам, что пьеса Ваша по-прежнему приводит в восторг каждого, кто имеет счастье узнать ее. Я уже наметил роли и готов приступить к репетициям. В том, что спектакль будет иметь успех небывалый, и поднимет на новую высоту имя нашего театра, нет никаких сомнений.

Особо же признательны мы за то, что этакий бриллиант достался нам бесплатно, а попросту – даром, что в нашем теперешнем положении является фактом весьма и весьма немаловажным. И все же, чтобы нам не остаться совсем в долгу, примите эту скромную сумму (к письму прилагался чек), которую г-н директор лично распорядился выделить из бюджета.

Понимаем, что наши «гонорары» Вас не впечатлят, и все

же, вспоминая притчу о бедной вдове, мы верим в Ваше христианское сердце.

За сим, остаюсь искренне и всецело Ваш,
(Реж. такой-то).

P.S. Вряд ли в Вашем рабочем графике найдется время для такого пустяка, как мы, и все же мы все надеемся, что вы разделите наш триумф, почтив театр своим присутствием в день премьеры, которая будет иметь место быть девятнадцатого числа следующего месяца.

Некоторое время я размышлял над «христианским сердцем» и странным «будет иметь место быть», потом развернул чек.

Сумма, на которую он был выписан, не удивила бы не только г-на Лозинского, но даже и разнорабочего Рогова. И все же, Рогов и тому был рад, что снова не погибнет от голода.

Я накупил еды, и прочего, призвал Платона, и мы устроили пир.

Те выходные я плохо помню...

И вот – настал день генеральной репетиции.

Я тайно покинул свое подземелье, и поднялся в будку

осветителя Петрова.

Петров выпил, включил прожектор – и репетиция началась.

Как я уже сказал, я никогда не перечитывал свои рукописи, и плохо помню, что писал. Я знал только, что написанное мною превосходит все созданное ранее, несет свет тому, кто видит, и исполнял свою задачу.

И вот оно, написанное, воплощалось передо мною.

Я замирал от любопытства и волновался ужасно. Я ловил каждое слово, всматривался в лица актеров, наблюдал за их движениями. Я словно бы заново знакомился с кем-то, кто за давностью лет утратил привычные черты, оставив лишь смутное чувство родства. Я словно бы вглядывался в старинное зеркало, пытаюсь угадать собственное присутствие в чужом и далеком.

И чем больше я вглядывался, тем настойчивее нечто извне вторгалось в мой разум, вытесняя смыслы, которые росли в нем доселе, внушенные мыслью, думавшей саму себя.

Неясное предчувствие зарождалось во мне. И понемногу все, что было вокруг, словно бы потеряло цвет, стало меркнуть и отдаляться, теряя привычные формы.

Не стало ни зала, ни самих актеров. Одиноким, сидел я в серой пустоте над сценой, где словно в немом кино раз-

ворачивалось ненастоящая, странная жизнь. Искаженная до неузнаваемости, нелепая, и даже абсурдная, она как на ходулях плясала и ломалась передо мною в плоском и бесцветном мире, сама плоская и бесцветная. И то, что скрывалось за нею, как за ширмой, стало выдвигаться; и пелена, застывшая мой взор с того самого дня, когда я взялся за перо, спала; истинные мотивы и смыслы, и вся природа вещей предстали передо мной – и тогда ужас, более глубокий, чем мрачные ущелья, в которые я был заточен Шестовым, охватил меня, подобно тьме, что проникла в окна моей комнаты той ночью, когда погас свет.

Я увидел, как черное марево струится из окружающего пространства, расплзается по сцене и заполняет зал. Мареву сплеталось кружевами холодного пламени...

«Боги... Думал я. – Вот то, что думало во мне. Вот оно... идет...

Пламя, которое сожгло меня, и заморозило меня, оказалось тьмой. Безумец! Могильный тлен я принял за цветение райского сада. Дыхание геенны – за проявление божественного. Где, где был мой разум?! Кто отнял его у меня? Кто застил взор мой?!

Тем временем тьма поднималась, захлестывая зал черными волнами, и уже на лице Петрова проступал бесовской оскал...

Мне хотелось кричать – но я был нем. Хотел встать и бе-

жать без оглядки, но ноги словно бы приросли к полу. Как во сне, когда в самую страшную минуту не владеешь собою, сидел я, невольным зрителем и соучастником мною же порожденного кошмара.

Я видел его лицо. Оно было многолико; в нем кричало и билось безумие всего мира, и в то же время у него не было лица; все, что есть, было и будет порождено человеческим воображением, было в нем; и не было в нем, ничего, чего не могло бы быть.

Оно, многоликое и безликое, бесконечно темное и вселяющее ужас, двигалось ко мне, всматривалось в меня, своего проводника и посредника, не видя меня, не замечая, но зная обо мне все, готовое проглотить меня – слабую искру на его пути.

Я долго боролся. Я не мог. Я алкал. И все же, в конце концов, я нашел в себе силы встать, вытянуть руку и крикнуть: «Довольно!»

И – тьма услышала меня.

Петров погасил прожектор. Тьма распалась на лоскуты и истаяла, и со сцены раздался голос режиссера: «Всем спасибо!».

Репетиция была окончена.

Все еще во власти увиденного, чувствуя отвратительную слабость и дрожь во всем теле, с колотящимся сердцем я вы-

брался из будки, достиг выхода и оказался на улице.

Прохожие спешили под морозящим дождем. Серое небо нависло над бульваром, и стерегущий театр бронзовый исполин смотрел на меня дико и страшно.

«Что ты наделал, Рогов?! О, что ты наделал?!» – ревело и билось в его бронзовых глазах.

– Прости, Учитель... – Прошептал я и, стараясь не глядеть на исполина, втягивая голову в плечи и дрожа, двинутся прочь.

Не помню, где и как провел я время до вечера. Ноги сами несли меня, пока в сумерках я не разглядел вывеску над входом и огни за темным стеклом.

«Сюда», – решил я. – «Здесь разрешится все».

«И восшед, возлег я, и хозяин приступил ко мне, и, простерши руку свою, – подал мне чашу, которую испил я во исполнение того, чему должно случиться; подводя черту под тем, что началось, и что свершилось. И вошли в дом сей те, кому предначертано, и возлегли, и пировали, и отверзши уста свои рек я, и, имевши слух, они услышали...»

Свечи тихо потрескивали. Бокалы отсвечивали на стойке. Тишина наполняла бар, и только ветер, налетая, бился в окно, и лепил в него мокрым снегом из темноты.

Рогов стоял перед нами, опустив голову и прикрыв глаза, будто его одолевала дрема. Казалось, рассказ отнял у него последние силы. Он все еще вздрагивал, и бледный лоб его серебрился испариной.

– Надеюсь, господа, я не упустил ничего, – добавил он слабым голосом, – и не слишком утомил вас. Впрочем, теперь вы и сами понимаете, что это было необходимо. Ведь завтра премьера. Сегодня мне удалось остановить то, что грядет, но завтра оно войдет в силу, и тогда я буду беспомощен.

«Что будет, когда спектакль увидит зритель?» – Спросил Рогов, и глаза его расширились. – «Безумие преумножится!» – Воскликнул он и взмахнул руками, словно сбрасывая с себя усталость, а голос его зазвучал с новой силой, и как прежде – страстно: «Безумие, которое через меня нашло путь из темных глубин, поднимется, подобно волне, и обрушится со сцены, вселившись в сердца многих, и многие разнесу зло по миру, и мир погрузится во мрак.

Я был там. Я видел. Я знаю. В будке осветителя Петрова, пьяненького и уже безумного, я все понял. Я, создатель и проводник зла; я, виновник и жертва, пропащий человек, чья душа хитростью была похищена той роковой ночью, стал причиной конца. Я, последний из последних, стал выше царей земных, продав душу тому, кто внушил мне мысль писать о Нем. Это Он, Он был той ночью под фонарем! Само зло, скитаясь по местам пустым и безлюдным, нашло меня, –

дом опустевший, и, войдя, заняло его.

Завтра премьера. Ян Лозинский от души посмеется над делом рук своих. Он не посетит ее, – потому что Рогов должен уйти.

Мне осталось немного. Совсем немного. И вот что я скажу на прощание; верьте мне! Ибо тот, кто стоит у последней черты, не может лгать.

Не оставляйте место пустым. Не дайте охладеть душе вашей. Не верьте тому, кто скажет, что жизнь – слабая искра. Не верьте в вечность. Верьте только в «здесь» и «сейчас», и наполняйте собою настоящее. Наполняйте душу свою Светом, иначе придет Тьма и наполнит ее.

Я был хладен. Я не верил в Свет. И вот – пришел Он, и я поверил в Него.

Премьера состоится, и есть только один способ помешать тому: бежать. Бежать в тень смертную. Ибо жить в мире зла, не имея надежды, страшнее, чем умереть...

Или... остаться жить...? Но... я не хочу. Не могу! Я слабый человек. Трусливый человек. И трусость моя явилась для меня спасением. Я решил: лучше умереть, чем жить в мире зла, и вы тоже...

– Ах, перестаньте все время говорить о смерти! – Заломила руки Маргарита. – Вы расстроены и нуждаетесь в отдыхе. В конце концов, пьеса не так уж и плоха, хотя и есть в ней, признаться, некоторые недочеты, но все же...

– Ааа! – закричал больной, будто очнувшись от своих бредней. – Вот уже и о недочетах заговорили. А ведь вы, помнится, давеча утверждали, что она гениальна!

Маргарита ничего не ответила, но скулы ее покрылись румянцем

– Думаю, – продолжал Рогов, – теперь вы с меньшей охотой станете предлагать ему (он ткнул в меня длинным пальцем) – контрамарки!

– Никому я не предлагаю! – воскликнула Маргарита.

– Никому она не предлагает! – воскликнул также и Собакевич, и сжал кулаки. – И потом, – процедил он, оборачиваясь к нам, – кто вам сказал, что этот господин действительно тот, за кого выдает себя?

– Действительно! – подхватила Маргарита. – Где доказательства?

– Разве я могу предоставить вам доказательства более достоверные, чем те, которые вы только что получили? – отвечал Рогов, краснея.

– А что такое мы получили?! – спросил Собакевич, подаваясь вперед. – Историю сумасброда, вот что мы получили. Бред собачий мы получили! Не волнуйтесь, господа, – резюмировал он. – Обычный сумасшедший. Начитался книжек, вот и не выдержал. Недаром я ничего не читаю, кроме сценариев. И ты не волнуйся, Марго. Никакой он не сценарист.

– А ну! – Собакевич поднялся со своего стула и шагнул к Рогову. – Марш отсюда! Живо!

Рогов попятился, и медленно завел руку за спину.

– Ах! – воскликнула Маргарита.

В ту же секунду в руках у Рогова оказался револьвер.

Михаил закрыл лицо руками. Бармен замер за своей стойкой с бокалом в руке. Мы все отшатнулись, а Рогов направил револьвер Собакевичу в грудь.

Собакевич остановился.

– Я говорил вам, – голос Рогова прерывался от волнения, – я говорил, что к-купил револьвер. А?! Теперь-то вы мне верите? А если я скажу, что я действительно автор пьесы, то, выходит, я вру?!

– Спокойно, спокойно, – произнес Катамаранов.

Он медленно встал и вытянул руку в сторону господинчика.

– Никто не говорит, что вы...

– Сидеть! – заорал Рогов, и быстрым движением направил револьвер на Катамаранова.

Катамаранов так же медленно опустился на свое место.

– Извините, – сказал он. – Я только хотел, чтобы мы во всем разобрались. Уверяю вас, что...

– ...Он меня уверяет! – Захохотал Рогов. – Нет, милостивый государь! Это я вас уверяю, что пушу вам пулю в лоб, если вы сделаете хотя бы еще шаг.

Тишина снова повисла в баре. Все были бледны и не уве-

рены в своем будущем.

Казалось, Рогов и сам не знал, что ему делать дальше.

Воспользовавшись этим, бармен подался к нему из-за стойки.

– Рогов, – сказал он. – Вы разумный человек. И я уверен, что как разумные люди мы пойдем дуг друга. То, что случилось сейчас – просто нелепый инцидент. У всех у нас нервы. У всех обстоятельства. С каждым может случиться... – он замешкался, подыскивая нужное слово, но не нашел его, – сбой. Но, как разумные люди, – заметьте, я особо подчеркиваю это, – разумные, мы, конечно же, не допустим ошибок, сожалеть о которых придется очень и очень долго. Уберите оружие – и, я даю вам слово, что то, что произошло здесь, никогда не покинет стен нашего заведения. Мы забудем об этом, как о досадном недоразумении, и встретившись в следующий раз, от души посмеемся над тем, что было, поднимая кубки за то светлое и большое, что ждет нас. Прислушайтесь же к моим словам, и сделайте так, как я по-дружески прошу вас.

Какое-то время Рогов размышлял. Видно было, что он колеблется. Все мы, затаив дыхание, ждали, что вот сейчас он посмотрит на нас, как и прежде, испуганно и робко, виновато улыбнется и, извиняясь, станет пятиться к своему столику, уронив или разбив что-нибудь по пути, но вместо этого

Рогов опустил голову и сказал глухо.

– Я должен завершить то, для чего пришел сюда.

Что-то оборвалось у меня внутри от этих слов и от того, как именно они были сказаны.

Катамаранов приподнялся было со своего места, но снова тихо опустился на стульчик.

– Вы ошибаетесь – сказал Катамаранов. – Сейчас вы находитесь на распутье. И от того, какой путь выберете, зависит многое не только для вас, но и для нас, – об этом вы тоже не должны забывать. Что лучше? Позор и бесчестье, и тяжкий груз, или жизнь, не отягченная муками совести и запоздалым раскаянием? Жизнь честная и открытая? Вы говорили о тьме и свете. И я призываю вас выбрать свет.

Теперь вы расстроены. Вам внушили, или вы сами внушили себе то, чего на самом деле нет. Вы на взводе, вам трудно оценить ситуацию. Но найдите в себе силы взглянуть на вещи трезво.

Раскаяние неминуемо. Вы ничего и никому не докажете вашим поступком, уверяю вас. А потому, я спрашиваю снова: что лучше? Поддаться аффекту и жалеть об этом всю оставшуюся жизнь, – или проявить рассудительность, здравомыслие, силу характера и одержать победу над собой? Победу, которой вы по праву сможете гордиться. Победу, которая сделает вас сильнее и возвысит в собственных глазах!

Решайте же. И потом... – Катамаранов сделал паузу и по-

смотрел Рогову прямо в глаза, – вы когда-нибудь видели, как у вас на глазах умирает человек?

Рогов болезненно скривился. В нем шла борьба. Он по-прежнему не опускал своего оружия, но в глазах его отчаяние и решимость первых минут уже сменялись всегдашней робостью.

– Видите ли... – начал он, – это действительно трудно, – сделать то, что я задумал. Особенно если, как вы заметили, с этим придется потом жить. Но ведь, с другой стороны, если жить не придется вовсе, то все ведь будет уже не так сложно? Тем более, умирая вместе с другими, я разделяю их участь, к тому же, – избавляю мир от зла, которое придет через меня ...

– Но послушайте, – возразила Маргарита. – Она подалась к Рогову и заговорила проникновенно. – С чего вы в самом деле решили, что в мир идет зло, и именно через вас? Ведь всякое может показаться! А вы много работали в последнее время, мало видели солнца, устали и нуждаетесь в отдыхе. Я согласна с Катамарановым: вам нужно трезво взглянуть на вещи. Сейчас вы взволнованы, расстроены и вполне возможно, что вам всерьез кажется, что все действительно так, как вам кажется. Но – поверьте моему жизненному опыту; нет такой беды, с которой нельзя было бы справиться. Особенно же, если вы не один. Что до меня – то я готова всячески

поддержать вас. Не потому, что хочу спасти себя, – нет, не только поэтому. Но и потому еще, что вы с самого начала произвели на меня положительное впечатление. Вы добрый, ранимый, чуткий человек. Да, сейчас вы сбились с пути, запутались и не видите выхода. Но может ли кто винить вас в этом? Все мы проходили через испытания. И я, вероятно, лучше других знаю, о чем говорю. Я знаю, каково это – жить без надежды на лучшее, страдать и ни в ком, ни в ком не находить сочувствия!

Я знаю, что такое одиночество. Поверьте, мне есть что рассказать. И я с радостью поделюсь с вами, если это послужит поводом к вашему исцелению. Но не только искренняя беседа необходима вам. Вам также необходимо молчание. Молчание, когда не нужно слов. Когда достаточно просто знать, что есть рядом чье-то дружеское сердце, способное понять и разделить ваши мысли и ваши чувства, как если бы о них было сказано вслух. Все это я готова дать вам, если вы согласитесь принять мою помощь. Искренне надеюсь, что вы не откажете мне...

Маргарита замолчала.

В глазах Рогова стояли слезы. Казалось, он уже готов бросить свой револьвер и упасть, как сын, нашедший свою мать после долгих лет скитаний, в ее объятия, но вместо этого вздохнул, зажмурился и провел рукой перед лицом, будто бы отгоняя паутинку.

– Искусители, – сказал он, не то улыбаясь умоляюще, не то злобно скалясь. – Вы нарочно говорите так, чтобы помешать мне. Но если бы вы видели и знали то, что видел и знаю я, вы сами бы попросили меня поскорее совершить то, за чем я пришел. Но вы не знаете, а я не могу, не могу...!

Ведь... если я не сделаю этого, придет тьма... Я ведь не понаслышке знаю, о чем говорю. Я его видел. Там, под фонарем. Он так ловко прикинулся обычным прохожим, что никто не отличил бы...

И вы все, – он повел стволом из стороны в сторону, – теперь служите Ему, уговаривая меня сохранить вашу жизнь и свою.

Глупцы! Ваш разум отравлен ложью. Ваши глаза не зрят истины. Ваши сердца не бьются, и души спят. Свет, к которому вы призываете меня, недоступен вам. Его застила тьма, которую я сам же призвал из глубин, где она обреталась от создания мира. Моя вина. Моя. Но я спасу вас, и себя, и других, кому суждено погибнуть. Я проведу вас путями долгими, сквозь тьму и сень смертную, туда, где снова будет свет и вечная жизнь!

Но... о, мучение! – Рогов обхватил голову руками и стиснул ее так, будто хотел раздавить. – Ведь я не могу, не могу! Я слишком слаб! Ты знал это! Знал! – Воскликнул он, воздев лицо к потолку. – За что наказываешь меня так!? Ведь он прав, он был прав! – Рыдал Рогов, тыча дулом пистолета в

Катамаранова. – Я никогда не видел, как на моих глазах умирает человек!

Рогов вцепился в свои жидкие волосы и, переламываясь как складной метр то на одну сторону, то на другую, стал раскачиваться, хрипя и стона.

Что-то глухо ударилось об пол. То Михаил упал в обморок.

– Мой друг! – воскликнула Маргарита, и снова умоляюще протянула к безумцу руки, похожие на нежных лебедей, – прошу вас, опомнитесь!

– Не нужно, Рогов! – просил Катамаранов. – Вы будете жалеть!

– Давайте просто забудем! – восклицал бармен.

– Стойте! Стойте! – выкрикивал я.

Только Собакевич молчал. Все это время он наблюдал за Роговым, как зверь, стерегущий добычу и вот теперь, уловив момент, снова бросился на него.

Однако, Рогов на удивление быстро среагировал; он отскочил, взведя предохранитель и ствол револьвера задрожал у самого виска Собакевича.

Я предупреждал! – Крикнул он. – Я пристрелю каждого, кто попытается помешать! Что неясного? Вернитесь на свое место и оставайтесь там!

Собакевич нехотя повиновался.

– Подлец, – прорычал он. – Если бы не эта проклятая железка, я бы скормил твои кости дворняге, что живет под твоим проклятым забором!

– Уверен, что в следующий раз вы поступили бы сообразно своим природным наклонностям, – холодно сказал Рогов, вдруг снова делаясь спокойным. – Но я позабочусь о том, чтобы следующего раза не случилось.

Он вытянулся перед нами, опустил свои длинные тонкие руки вдоль тела, прикрыл глаза и сказал: «А теперь прошу не мешать. Мне нужно сосредоточиться».

И тут – что-то звонко ударилось в стекло с улицы, как если бы в него бросили монету.

Рогов вздрогнул и обернулся.

За окном было темно, и только снег лепил в него мокрыми хлопьями, и стекал каплями воды. Столик, за которым сидели трое с пищей, был пуст. Видимо, они успели улизнуть, когда Рогов достал пистолет.

Глаза Рогова округлились.

– Я опоздал... прошептал он, вновь делаясь безумным. – Вот она... Вот! Она пришла! Смотрит! – Рогов попятился от окна и сжал револьвер в руке. – Я опоздал! – Воскликнул он в отчаянии. – Горе мне! Горе! Простите меня! Теперь вы сами! Сами! В револьвере достаточно пуль!

С этими словами Рогов быстрым движением развернул револьвер к себе, оставив острые локти, прижал ствол к груди, зажмурился и нажал курок.

Грохнул выстрел – и стало темно.

Темнота.

Голоса в темноте.

Первый голос. Господа... Господа! Есть здесь кто-нибудь?

Второй голос. Я здесь!

Первый голос. Кто вы?

Второй голос. Собакевич.

Первый голос. Простите, я не узнал вас по голосу. Это я, бармен.

Собакевич. Со мною Маргарита. Я держу ее за руку.

Бармен. Вы видите что-нибудь?

Собакевич. Ничего. Темно, как.... Словом, очень темно.

Третий голос. Что... что это?! Что происходит?! Я ничего не вижу! Я уже умер?! Где все? Помогите!

Бармен. Кто вы?

Третий голос. Это я, Михаил. И у меня, кажется, паническая атака...!

Четвертый голос. Ну, от этого еще никто не умирал... И, – упреждая чей бы то ни было вопрос – это помощник.

Бармен. Хорошо. Кто еще здесь слышит меня? И – да, господа, называйте себя сразу по имени.

Пятый голос. Катамаранов здесь.

Шестой голос. Йорик здесь.

Бармен. Значит, все на месте.

Михаил. А где же тот, кто... Ведь он, наверное, по-прежнему рядом?! А может, мы все уже умерли?! О боже... Я задыхаюсь! Кто-нибудь! На помощь! Воды!

Собакевич. Не было печали. А ну... хватит!

Катамаранов. Успокойтесь, Михаил. Вы просто были без чувств, но теперь очнулись. Вам ничего не угрожает. Все живы. А он... уже ушел.

Михаил. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу...

Катамаранов. Господа. Думаю, лучше всего нам сейчас собраться вместе.

Маргарита. Вы как хотите, а я и с места не сдвинусь; ведь где-то здесь лежит застрелившийся Рогов.

Михаил. Как?! Его убили?! Боже!

Катамаранов. Он сам выстрелил в себя. Повторяю, Михаил, вам ничто не угрожает. (гипнотическим голосом) Дышите глубоко. Вы в цветущем саду, под ласковым солнцем. Поют птицы. Вам ничто не угрожает. Вы спокойны.

Михаил. (делая глубоких вдохов) Я спокоен... Светит солнышко... Мне ничто не угрожает...

Собакевич. Хорошенькое дельце. В одном помещении с покойником, да еще в темноте.

Маргарита. Ах, перестаньте! Мне страшно.

Михаил. А я... я будто бы чувствую его холодные пальцы на своей шее...!

Маргарита. Что вы такое несете?! Собакевич! Обнимите меня. Кажется, у меня тоже начинается паника (секунду спустя – громкий визг Маргариты и звук пощечины).

Собакевич. Ох...

Все. Кто? Что? Что такое?!

Маргарита. Это он! Рогов! Он сейчас пытался схватить меня!

Собакевич. Это я обнял вас, как вы и просили, а получил по лицу.

Маргарита. Ах, друг мой, как вы меня напугали. Ну обнимите, обнимите же меня, что вы сидите, как истукан? Мне страшно! (секунду спустя) Ах!

Собакевич. Ну, что еще?

Маргарита. Нет, ничего. Я опять подумала... впрочем, ничего. Можете обнять.

Собакевич (ворчливо). То обними, то получаешь по морде...

Бармен. Господа, не ссорьтесь. Нужно во всем разобраться. Кто-нибудь помнит, что было после того, как раздался выстрел?

Михаил. Нет, это невыносимо. Я сойду с ума, если буду сидеть здесь один!

Бармен. Михаил прав. Нужно собраться. Так как Соба-

кевич и Маргарита уже вместе, предлагаю всем двигаться к ним. Собакевич, подайте голос! Мы будем двигаться к вам.

Собакевич. Раз... раз-раз...

Маргарита (в зал). Дурак.

Слышен шорох одежды, шарканье и глухое постукивание.

Маргарита. Кто это?

Помощник. Это я, помощник.

Маргарита. А это кто?

Бармен. Это бармен, Маргарита Николавна.

Помощник. Вы мне ногу отдавили.

Михаил. Расступитесь, господа... вот я присяду... ох...

Слава Богу, я с вами. Не поверите, я чуть было не помер со страху. Пока я полз к вам, мне всюду мерещился покойный, и...

Маргарита. Ради всего святого, перестаньте поминать его! Иначе вдруг он на самом деле...

Михаил (дрожащим голосом). Что..?!

Маргарита. Ничего... ах, ничего! Перестаньте поминать.

Катамаранов. Это я, Катамаранов. Со мною Йорик. Я наткнулся на него, когда шел к вам.

Йорик. Благодарю за помощь.

Бармен. Теперь, кажется, все?

Катамаранов. Все. Кто помнит, где здесь выход?

Помощник. Выход там.

Маргарита. Смешно.

Катамаранов. Господа, нет ли у кого спички, зажигалки или иного источника света?

Все. У меня нет. И у меня нет. А я вообще не курю.

Йорик. Помощник! Вы, кажется, говорили, что у вас есть электрический фонарь.

Помощник. Да. Вот он. Только почти уже разряжен.

Маргарита. У меня нет слов.

Бармен. Где же вы раньше были?

Помощник. Все это время я простоял за ширмой, до самого выстрела.

Бармен. Я не о том. Почему вы сразу не сказали про фонарь?

Помощник. Потому что меня никто не спрашивал.

Собакевич. Редкостный болван.

Катамаранов. Господа, давайте не будем ссориться. Помощник, зажгите фонарь.

В темноте вспыхнул огонь, и мы увидели бледные лица друг друга.

– Наконец-то, – сказала Маргарита.

– Бывают же люди... – не удержался Собакевич, и поглядел на помощника.

– После об этом, – ответил Катамаранов. – Так где, вы говорили, здесь выход?

Мы огляделись и замерли в недоумении.

– Кажется так, что мы не в баре, – сказал Бармен.

Действительно, бара не было.

Под ногами у нас лежали широкие, плотно подогнанные доски, которые тянулись во все стороны и терялись во мраке. Тусклый свет фонарика не достигал стен, отчего помещение, в котором мы находились, казалось крайне просторным.

– Черт возьми, бармен, – проворчал Собакевич. – Не подмешали ли вы нам чего-нибудь в напитки?

– У нас культурное заведение, – отвечал бармен с достоинством, – и я попросил бы вас...

В ответ откуда-то из темноты донесся многоголосый смешок и стих.

Мы переглянулись.

– Кто здесь? Эй!

Темнота молчала.

Не сговариваясь, мы двинулись на звук, но через несколько шагов круг света от фонарика, скользнув по доскам, исчез за краем пола, открыв взору глубокий провал. На дне прова-

ла виднелись стулья, попитры и лежали листы бумаги.

– Вот те на... – озадаченно сказал Катамаранов.

– Неожиданный поворот, – согласился помощник.

– Может, хватит уже шутить? – крикнул Катамаранов в пространство.

– Я узнаю эти доски, – тихо сказала Маргарита, глядя себе под ноги. – Мы, кажется, на сцене. Это будто бы наш театр, к которому пристроили оркестровую яму.

– Однако, – озадачился я, а помощник почесал нос. – Чепуха какая-то. Не может этого быть! Театр – где? (я махнул рукой в одну сторону), – а бар – где? (махнул в другую).

– Что же тогда получается? – удивился бармен.

– Не знаю, – отвечал я, – но нельзя проделать такое расстояние в один миг – это во-первых, а во вторых... Нет, господа, как хотите, а только это специально так подстроено, чтобы мы поверили: сначала наш разговор о театре, потом Рогов со своей историей, и вот теперь – это... (я указал на сцену). Уж если до конца быть откровенным, то... – я извиняющимся жестом поднял руки, – Маргарита Николавна, Собакевич, скажите правду: ведь это все с вашего ведома происходит, не так ли? Вы с самого начала были с ним в сговоре?

– Друг мой, – покачала головой Маргарита. – Во-первых, я и Собакевич слишком много проводим времени в театре, чтобы во внерабочее время заниматься хоть чем-либо с ним связанным. Да и потом – разве возможно, как вы справедливо подметили, перенести семерых людей из одного места в

другое незаметно для них самих? Мы ведь не в столице живем, где есть технологии.

– И этого проходимца мы видим в первый раз, – добавил Собакевич. – Хотя... теперь мне его лицо кажется знакомым. Я будто бы припоминаю, что встречал его как-то перед репетицией. Он в синей робе и беретке тащил что-то на сцену.

– Именно! – добавила Маргарита. Он, кажется, действительно мелькал у складских дверей. Помнится, он еще поглядывал так пристально...

– Бармен, – допытывался я, – ну хоть вы скажите. Мы ведь в вашем заведении были. Значит, либо вы тоже с ними, либо...

– Почему вы меня об этом спрашиваете? – обиделся бармен. – Я в происходящем понимаю не более вашего.

– Кого же и спрашивать, как не вас? – согласился Собакевич. – Мы действительно были в вашем баре, стало быть, с вас и спрашивать. Это ведь ваш бар, не так ли?

– Бар мой, – отвечал бармен. – Но, повторяю, – я не имею к произошедшему никакого отношения. По правде сказать, меня больше заботит другое, а именно: если мы действительно не в баре, то кто же теперь там? Трое с пищей исчезли. Остается только труп Рогова. И двери не заперты... Хорошенькое дельце.

– Н-да..., – согласился Катамаранов. – Сюжет для детектива...

– Вот именно! Сюжет! – Воскликнул я. – Вам ничего это

не напоминает?

– Бред это напоминает, – проворчал Собакевич, озираясь. – Не может быть того, чего быть не может. А ну-ка... – Он подошел к Помощнику и, сощурившись, поглядел на него: «Признавайтесь. Может быть, это вы чем-нибудь таким балуетесь? А? Может быть, это вы решили подшутить над нами?»

Помощник отставил ногу, выпрямился и сказал обиженно: "Конечно, никто из нас не без греха. Но если когда-то давно что и было, то это не значит, что меня можно подозревать всю оставшуюся жизнь".

– Ну вот, – удовлетворенно кивнул Собакевич. – Уже зацепка. Человек сам признался: не без греха. Вот он и усыпил нас, и привез сюда. Вот вам и объяснение!

– Оставьте его, Собакевич, – сказал бармен. – Я его давно знаю. Он бы не стал.

– Ну-у, знаете..., – протянул Собакевич.

– Оставьте этого мальчика, мой друг, – вмешалась Маргарита. – Не знаю, как на счет него, но у меня нет оснований не доверять бармену.

– Будь по-твоему, Марго, – вздохнул Собакевич. – А только надо выяснить, наконец, что-же, черт возьми, происходит.

Мы постояли еще, взглядываясь в темноту. Темнота молча взглядывалась в нас.

– Стало быть, это все же как-то связано с Роговым, – сказал Катамаранов.

– Я и говорю! – оживился я. – Он говорил именно о сцене, и о тьме, – если опустить детали, – потом выстрелил, – и вот вам и тьма, и сцена.

– Боже мой... – прошептал Михаил. – А вдруг он и теперь здесь? Со своим револьвером?

– Вы хотите сказать, – спросил я, – что он все-таки не сделал... этого?

– Нет, если патроны были холостые, – сказал Собакевич. – Знаете, у нас в театре так и стреляют.

– Ну конечно! – обрадовался я. – Тогда действительно все сходится. Хотя...

– Что? – спросил Михаил.

В его голосе была надежда и тревога.

– Я только подумал, что если патроны и холостые, то как все же мы оказались здесь?

– М-да... – протянул Катамаранов. – Он сложил руки на груди и коснулся пальцами подбородка. – Вопросов действительно больше, чем ответов. Хотя, кое-что предположить можно, но для начала нужно выяснить, есть ли здесь выход, пока фонарик совсем не разрядился.

– Кажется, я скоро сойду с ума от всего этого, – простонала Маргарита. – Собакевич, я хочу домой! Я устала, у меня раскалывается голова и хочется спать.

И тут зажегся свет.

Сцена постепенно освещается тусклым светом. В глубине ее стоит барная стойка, столик с недоеденной пищей и накинутые на стулья чьи-то одежды.

Перед сценой – зрительный зал, отделенный от нее широкой оркестровой ямой значительной глубины.

На сцене те же, что и ранее. Они долго смотрят в зал с удивлением. Наконец, Маргарита прерывает молчание.

Маргарита (натянута). Браво, господа! Очень, очень мило! (аплодирует, вытянув руки в сторону зала).

Остальные механически повторяют ее жест, растерянно улыбаясь.

Из зала слышится ответный аплодисмент.

Собакевич. Замечательный розыгрыш! Но кто же тот, кто придумал все это? Думаю, он заслужил отдельных аплодисментов господа! (хлопает)

Зал откликается, но на это раз менее охотно.

Пауза.

Катамаранов. Полно, господа устроители. Мы вас раскусили. Выходите! (с публичным видом улыбается, глядя по сторонам и вверх).

Ничего не происходит.

Собакевич. Что-ж... Мы и тут постоим. Подождем, так сказать. Видимо, нам предстоят еще сюрпризы. Хотелось бы только, чтобы на сей раз они были более приятными.

Маргарита. Надеюсь, никто больше не будет стреляться и изображать умалишенного.

Йорик. Кстати, Рогов! Где вы? Выходите! Мы все поняли! (обращаясь к другим) Он не сумасшедший, господа. Он просто актер и притом, видимо, хороший.

Михаил. Наверное, из столицы.

Помощник. Таковую роль сыграл...

Собакевич (празднично глядя в зал). Какую бы кто роль не играл, мы все снимем маски, когда те, кто придумал их для нас, выйдет на эту сцену и зажжется свет! (в глазах его мольба).

Маргарита (про себя). Этот болван не понимает и половины того, о чем говорит.

Ничего не происходит по-прежнему.

Йорик. А может быть, нам всем лучше просто уйти?

Все. Действительно! В самом деле! Где здесь выход? Уйдемте, господа.

Все ходят в поисках выхода, но сцена со всех сторон ограничена глухими стенами. Нет ни боковых карманов, ни лесенок, ведущих в зал, ни прохода за кулисы.

В конце концов, все собираются там же, где и были.

Собакевич. Хорошенькое дельце. Замуровали – комар носу не подточит.

Бармен. Что бы все это действительно значило? Что за шутки такие? Господа зрители, давайте будем честны: это перестает быть остроумным.

Михаил (встревоженно). А если это все же не розыгрыш?

Маргарита. Что вы имеете ввиду?

Михаил. То, о чем говорил Рогов... – вдруг все это правда?

Катамаранов. Что он говорил, господа? Давайте вспомним.

Помощник. Он говорил, что безумие вышло из-под контроля, если в общих словах.

Маргарита (нервно). Я все больше с ним согласна.

Собакевич. Попадись он мне только. Я бы...

Маргарита. Что – бы? Что – бы?! На все, на все у него

один ответ! Господи! До каких пор мне терпеть эту дремучую, пещерную грубость?

Собакевич. Вы не в духе сегодня, Марго (берет ее за руку).

Маргарита (отдергивая руку). Ах! От чего же?! Мне очень даже весело. Давно меня не хотели убить и не умирали у меня на глазах. Давно не выставляли посмешищем на глазах у сотен людей. А ведь мы просто хотели провести вечер в тишине и спокойствии. Но, видимо, спокойствие – это роскошь, которой мы не заслужили!

Собакевич. Полно, мон шер. Ведь самое главное, что все – не по-настоящему, и нужно только дождаться, пока устроители...

Маргарита. Знаете что?! Я пришла в бар после репетиции, которые у нас, черт возьми, случаются изо дня в день, из года в год, за редким исключением, – и так, за годом год, проходит жизнь, на чертовой сцене! Так почему же, почему должна я становиться частью идиотских розыгрышей, где нужно уговаривать людей не стрелять в меня, и не кончать с собой, и вообще, творится черт знает что?! Кто дал себе право так распоряжаться мною? Я вас спрашиваю! Кто?!

Собакевич (сконфуженно косясь в зал и протягивая руки к Маргарите). Успокойтесь, дорогая, прошу вас...

Маргарита (отступая). Не трогайте меня! Не прикасайтесь! Я не хочу, чтобы вы, либо кто другой лезли ко мне с вашими увещеваниями! Я не хочу, чтобы вы, либо кто другой лез в мою жизнь! Не хочу, не хочу, не хочу, понимаете?!!

(Последние слова Маргарита кричит, глядя в глаза Собакевичу белыми от бешенства глазами).

Катамаранов (в зал). Господа! Это переходит уже всякие границы! Немедленно прекратите, слышите?!

Бармен. Довели человека...

Зал молчит.

Все бросаются к Маргарите, и как могут утешают ее.

Бармен идет к стойке.

Маргарита (спустя время, всхлипывая). Простите, господа.

Помощник (рассудительно). Ничего страшного. Такое часто случается с дамами тонкой душевной организации. Вот, например, встречался я с одной впечатлительной особой, которая в минуты душевных переживаний вела себя, как придется. Бывало, она компрометировала меня на людях, зато натура была страстная и многогранная.

Маргарита. Держу пари, мой мальчик, что перед таким количеством людей (обводит рукой зал) вам не приходилось еще быть скомпрометированным.

Помощник. Отчего же? Как-то раз во время футбольного матча...

Подходит бармен и подает Маргарите стакан воды.

Бармен. Выпейте, Маргарита Николаевна.

Маргарита. Спасибо, мой друг (принимает стакан, делает глоток).

Бармен. И вот еще что я нашел у барной стойки (достает из кармана жилетки блокнот).

Йорик. Что это?

Бармен. Блокнот, в котором писал Рогов.

Катамаранов. Вы позволите?

Бармен. Пожалуйста (протягивает ему блокнот)

Катамаранов (разглядывая блокнот). Думаю, теперь не будет неприличным узнать, что в нем.

Собакевич. Валяйте, открывайте.

Катамаранов (открывает блокнот, пробегает глазами страницы). Странно. Впрочем... Вот, Послушайте: «В этот час в баре никого еще нет, не считая господина за стойкой, который сидит с видом завсегдатая и пьет ром с колой. Темноволосый, с низким покатым лбом и бегающими глазками, он поглядывает на меня то подозрительно»... (опуская блокнот) Позвольте, Йорик. Уж не о вас ли речь?

Йорик (проводя рукою по лбу). Черт знает...

Маргарита. Читайте, Катамаранов.

Катамаранов (снова взглянув на Йорика). «... Поглядывает на меня то подозрительно-тревожно, то тепло, то ли готовый подойти и обнять меня, как старого друга, то ли сказать мне прямо в лицо, что я подлец, и знать он меня не желает.

Сложный человек. Видимо, что-то разъедает его изнутри, и ни в ком он не находит сочувствия...».

Йорик. Ну, знаете... Мало ли о ком можно так написать, да и вообще...

Маргарита. Что там еще?

Катамаранов (перебирая страницы). Похоже, тут описан наш вечер... (листает) Вот трое с пищей сели за столик... «свет мозаичных плафонов играет на лицах...» – А вот тот, кто сидит за стойкой (взглядывает на Йорика) беседует с барменом: «Эффект... Суть...» – Впрочем, это не интересно... (листает). Вот! – «Снова пропели колокольчики, и в баре появилась парочка... он – в бакенбадрах... свирепое лицо бульдога... пиджак в крупную клетку...

Собакевич. Каков прохвост!

Катамаранов (продолжает читать) ...У нее – рыжие волосы, собранные на макушке в узел, который пронзают и удерживают две тускло блестящие стальные спицы.

(опускает блокнот и смотрит на своих товарищей).

Маргарита (касаясь спицы в своих волосах). А он наблюдателен.

Йорик. Но когда он успел?

Собакевич. Шельмец. Шпионил за нами.

Катамаранов (возвращаясь к блокноту). Вот тут описана, видимо, ваша беседа. А вот и мы с Михаилом. И про свечи

тут есть и... и истории, которые вы рассказывали... Постояйте, господа (отстраняется от блокнота и с удивлением смотрит на остальных). – Далее начинается история самого Рогова!

Маргарита. История Рогова?

Катамаранов. Естественно! В том самом виде, в котором он рассказал ее: «Жил был Рогов. Рогов, с улицы Бадина. Спросите любого на этой улице, где живет Рогов, – и вам укажут на старый двухэтажный дом у дороги, за старым забором, и дворнягой, что сидит у забора...»

Йорик. Написано от третьего лица... Жил был Рогов.

Собакевич. Значит, писал не Рогов.

Йорик. Стало быть, блокнот не его?

Катамаранов. Он как будто бы стал не его с этого места.

Ведь до этого речь шла от первого лица.

Собакевич. Черт знает, что такое.

Маргарита. У меня голова идет кругом.

Йорик. Чем же кончается? Может, там есть хоть какое-то объяснение?

Катамаранов. Сейчас-сейчас (листает). Вот. Последняя страница: «Я опоздал... – прошептал он, вновь делаясь безумным. – Вот она! Вот!... Она пришла! Смотрит! – Быстрым движением развернул револьвер к себе... Раздался выстрел – и стало темно.

Йорик. Это все?

Катамаранов. Смотрите сами (показывает блокнот на по-

следней странице).

Собакевич. И все-таки, розыгрыш.

Михаил (с надеждой). Розыгрыш?

Собакевич (не замечая Михаила). Все заранее было построено: Рогов читал текст по сценарию, стрелял холостыми, и блокнот специально подбросили, чтобы заморочить нам голову!

Маргарита. Даже если это правда, то как они угадали все, о чем мы говорили до этого?

Собакевич. Черт... (ходит по сцене, ероша волосы). Теперь и у меня голова идет кругом (оборачиваясь к Маргарите, раздраженно). Не знаю!

Катамаранов. Что-то мне подсказывает, господа, что вечер затянется. А потому – давайте-ка присядем и хорошенько все обдумаем (садится у столика).

Собакевич. А чего тут думать? (направляясь к стойке) Думай, не думай – все равно ничего не надумаешь, пока оно само не закончится.

(указывает бармену на стойку) Бармен! Ведь это ведь ваша бандура?

Бармен. Выглядит как две капли воды таковой (*становится за стойку*).

Бармен. Чего изволите?

Собакевич. Водки, как обычно.

Февраль 2020